# Жан Бодрийяр. Эмиль Мишель Сиоран. Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы

***Философский поединок –***



http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9964355
«Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы : [перевод с французского]»: Алгоритм; Москва; 2015
ISBN 978-5-906789-09-9

## Аннотация

*В фильме «Матрица» один из его героев (Нео) читает книгу французского философа Жана Бодрийяра. С помощью этой книги Нео пытается понять, где реальность, а где матрица реального мира.*

*Внимание создателей этого фильма к произведениям Бодрийя-ра не случайно: его называли «гуру» постмодерна, он ввел понятие гиперреальности («матрицы») для обозначения процессов, происходящих в мире. По мнению Бодрийяра, западный мир утратил чувство реальности, он движется к Апокалипсису, когда последним бастионом становится смерть – на ней основана в наше время любая власть и экономика.*

*Еще один французский философ – Эмиль Мишель Сиоран – согласен с Бодрийяром в том, что европейская цивилизация переживает глубокий кризис, но пытается шутить на краю пропасти. С мрачным юмором Сиоран оценивает настоящее и будущее Европы, общества, европейского человека.*

*В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее значительные произведения этих двух выдающихся мыслителей XX столетия.*

# Жан Бодрийяр, Эмиль Сиоран
# Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы



* * *

## *Жан Бодрийяр*
## Фантомы современности

### Предисловие

Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь на левом фланге французских интеллектуалов-бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользуются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности, не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры Бодрийяр считал следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего единство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у которых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря Бодрийяра является понятие «симулякра», который представляет собой всего лишь симуляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой-то реальности теперь нет. Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моделями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся

в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искусство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреальности» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся очередными «симулякрами».

«Происходит взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров…» – пишет Бодрийяр. «Политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз, вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды».

Нормы морали и веры, категории возвышенного, «величественный императив смысла» в призрачном мире пропадают, уходят в прошлое, заменяются «плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией».

И народа больше нет – есть массы, освобожденные от каких-либо высоких идеалов. В полную силу развернулась работа «по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального».

Кризис человеческого бытия достиг, по-видимому, своей высшей фазы. Бодрийяр говорит о «тошноте», ощущаемой миром людей, о болезненном состоянии этого мира, который «размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться».

Бодрийяр уверен, что такое состояние не может длиться бесконечно. Что ждет нас дальше – вселенская катастрофа, конец света, Апокалипсис или в муках родится новый мир, будет построено новое социальное мироздание? Бодрийяр оставляет этот вопрос без ответа и не спешит делать оптимистические прогнозы на будущее…

*** * ***

Что касается Эмиля Сиорана (Чорана), то в его сознании ощущение трагичности жизни было центральным с самых ранних лет. На формирование его пессимистического мировосприятия повлияло множество факторов. Прежде всего, раннее знакомство со смертью. У родителей Чорана был сад, расположенный рядом с кладбищем; вспоминая об этом, философ отмечал, что детские годы, проведенные в таком соседстве, должно быть, незаметно оказали на него сильное влияние. «Когда я был молодым, я думал о смерти не переставая. Это было какое-то наваждение: я думал о ней даже за едой. Буквально вся моя жизнь протекала под знаком смерти. Со временем эта мысль ослабла, но так и не покинула меня. Она перестала быть мыслью, но осталась моим наваждением. Именно из-за этой мысли о смерти, с одной стороны освобождавшей меня, а с другой – парализовавшей, я не стал приобретать никакой профессии. Когда все время думаешь о смерти, нельзя иметь профессию. Поэтому-то я и стал жить так, как жил, – на обочине, подобно паразиту».

Может быть, поэтому Чоран считал, что в философии есть только одна заслуживающая внимания проблема – это проблема смерти – и что рассуждать о чем-то другом – значит терять время, обнаруживая свое невероятное легкомыслие. Поэтому и в литературе его единомышленниками и учителями оказывались именно те писатели прошлого, у которых взгляды на эти вещи более или менее совпадали с его собственными. «Лукреций, Босюэ, Бодлер – кто лучше, чем они, понял плоть, понял все, что есть в ней гнилостного, ужасного, скандального, эфемерного?».

Другим моментом, добавившим мрачных красок в мировосприятие философа, стало его собственное физическое нездоровье и связанные с ним страдания, о которых он говорит очень часто. Физическая боль настолько ассоциируется у Чорана с жизнью, что он готов признать, что не жил в тот день, когда не страдал. И здесь он тоже зовет себе в учителя

и сообщники мыслителей и литераторов, о которых известно, что они страдали. «Паскаль, Достоевский, Ницше, Бодлер – все, кого я ощущаю близкими мне людьми, были людьми больными».

В числе мучивших его недугов Чоран выделяет бессонницу и, деля все человечество на две части – на тех, кто подвержен этой напасти, и тех, кто спит спокойным сном, – превращает ее если не в философскую категорию, то уж точно в мощный инструмент познания. «Не так уж плохо намучиться в молодости от бессонницы, потому что это открывает вам глаза. Это чрезвычайно болезненный опыт, настоящая катастрофа. Зато она позволяет вам понять некоторые вещи, недоступные другим: бессонница выводит вас за пределы всего живого, за пределы человечества». Кроме того, Сиоран с ранних лет мучился страшными болями в ногах, то ли ревматического, то ли нервного происхождения. Да еще постоянные, редко отпускавшие его простуды. Да ощущение тоски, всеобъемлющей тоски, сопровождавшей его и в Берлине, и в Дрездене, и потом в Париже.

В философском смысле пессимизм Сиорана связан с уверенностью, что в мире зло преобладает над добром. Такой позиции придерживался, в частности, Шопенгауэр, и Сиоран с готовностью развивал такую точку зрения. Эта его убежденность постоянно подпитывалась обыкновенным бытовым пессимизмом, из-за которого будущее видится человеку более мрачным, нежели настоящее. Индивид склонен укрепляться в этом мнении, поскольку впереди его ждут старость и смерть.

Сам Сиоран говорит о своем скептицизме: «У каждого свой наркотик; мой наркотик – это скептицизм. Я весь пропитан им. Однако этот яд позволяет мне жить, и, если бы не он, мне нужно было бы что-то более сильное и более опасное».

Сиоран с гордостью называл себя «космополитом». Нужно любой ценой, полагал он, оторваться от своих корней, дабы верность своему племени не выродилась в идолопоклонство. «Национализм, – заключал он, – это грех против духа, к сожалению, грех всеобщий. Стоики были не так уж глупы, и нет ничего лучше, чем идея человека как гражданина космоса. Как ни смешна идея прогресса, но христианство было огромным шагом вперед по сравнению с иудаизмом, шагом от племени к человечеству».

* * *

Есть в духовном облике Чорана и некоторые черты, которые, надо полагать, добавят ему симпатии русских читателей. Это, прежде всего, его любовь к России и достаточно хорошая осведомленность о различных аспектах русской культуры.

Обширность его познаний в области русской литературы просто поражает. Его дневники пестрят упоминаниями о Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом, Гончарове, Тютчеве, Чехове, Бунине, Мережковском, Блоке, Есенине, Ахматовой, Пастернаке, Цветаевой.

Достоевский же является для него настоящим божеством. Любовь к нему либо нелюбовь – критерий интеллектуальной состоятельности человека. Например, одного того факта, что Тейяр де Шарден не был в состоянии оценить по достоинству автора «Бесов», Чорану достаточно, чтобы дать тому суровую оценку: «Что за идиот этот иезуит!».

Он хорошо знал русскую философию: Чаадаева, Соловьева, Шестова, Бердяева, Розанова. Особенно Розанова, внутреннюю близость к которому он отчетливо ощущал. «Розанов – мой брат. Это, несомненно, мыслитель, нет, человек, с которым у меня больше всего общих черт». Или вот о Соловьеве: «Меня поражает Соловьев. Меня будоражит все, что я читаю о нем».

И вот другая цитата из того же дневника: «Идет снег. Весь город покрыт белой пеленой, весь утонул в белой массе. О, как же я хорошо понимаю российское безволие, как хорошо понимаю Обломова, каторгу и русскую церковь. То, что Кюстин говорит о русских, которые не просто сталкиваются с несчастьем, но обрели к нему привычку, так хорошо подходит к моей родной стране». Поэтому румынам, оставшимся на родине,

«итальянизированным славянам», он всегда давал совет держаться России, а не Запада. «Вместо того чтобы ехать на Запад, моим соотечественникам следовало бы направить свои стопы в Россию, где они с гораздо большей вероятностью нашли бы себе собеседников, озабоченных теми же проблемами, что и они сами. Как они не видят, что именно там находится их духовный центр, что именно там нужно искать то, что они надеются найти, и что именно там вопросы духовного порядка наиболее актуальны и остры? А они приезжают сюда, где находят то, от чего бегут, и где никто не может им ничего ответить, не может оказать никакой действенной помощи, не может дать надежды. Какое недоразумение!».

***По материалам В. Никитина***

## Часть 1. В тени молчаливого большинства, или конец социального *(из одноименной книги Ж. Бодрийяра, перевод Н. Суслова)*

Все хаотическое скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта, этой одновременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто – вокруг масс.

Магический хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных стихий, «пронизаны токами и течениями». Именно так по меньшей мере мы их себе представляем. Они могут быть «намагничены» – социальное окружает их, выступая в качестве статического электричества, но большую часть времени они образуют «массу» в прямом значении слова, иначе говоря, все электричество социального и политического они поглощают и нейтрализуют безвозвратно.

Они не являются ни хорошими проводниками политического, ни хорошими проводниками социального, ни хорошими проводниками смысла вообще.

Все их пронизывает, все их намагничивает, но все здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остается без ответа. Они не излучают, а, напротив, поглощают все излучение периферических созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального.

Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности – как явление в высшей степени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой теорией.

Воображению массы представляются колеблющимися где-то между пассивностью и необузданной спонтанностью, но всякий раз как энергия потенциальная, как запас социального и социальной активности: сегодня они – безмолвный объект, завтра, когда возьмут слово и перестанут быть «молчаливым большинством», – главное действующее лицо истории. Однако истории, достойной описания, – ни прошлого, ни будущего – массы как раз и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремлений, которые должны были бы реализовываться. Их сила является актуальной, она здесь вся целиком, и это сила их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне превосходящая все силы, на массы воздействующие. Специфическая сила инертного, принцип функционирования которой чужд принципу функционирования всех схем производства, распространения и расширения, лежащих в основе нашего воображения, в том числе и воображения, намеренного эти схемы разрушить. Недопустимая и непостижимая фигура имплозии (возникает вопрос: применимо ли к имплозии слово «процесс»?), о которую спотыкаются все наши рассудочные системы и против которой они с упорством восстают активизацией всех значений, вспышкой игры всех означающих, маскируя главное – крушение смысла.

В вакууме социального перемещаются промежуточные объекты и кристаллические

скопления, которые кружатся и сталкиваются друг с другом в рассудочном поле ясного и темного. Такова масса, соединенные пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального и распространяемые средствами информации импульсы: непроницаемая туманность, возрастающая плотность которой поглощает все окрестные потоки энергии и световые пучки, чтобы рухнуть в конце концов под собственной тяжестью. Черная дыра, куда проваливается социальное.




***Рыцарь, Смерть и Дьявол. Гравюра Альбрехта Дюрера***

Итак, полная противоположность тому, что обозначается как «социологическое». Социология в состоянии лишь описывать экспансию социального и ее перипетии. Она существует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социального.

Устранение, имплозия социального от нее ускользают. Предположение смерти

социального есть также и предположение ее собственной смерти.

Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца используемым в политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналитическое представление. Верная себе социология будет пытаться преодолеть его ограниченность, используя «более тонкие» категории социопрофессионального и классового, понятие культурного статуса и т. д. Стратегия ошибочная: бродя вокруг этих рыхлых и некритических представлений, можно пойти дальше, чем умная и критическая социология. Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия класса, социальных отношений, власти, статуса, институции и само понятие социального – все эти слишком ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия тоже всегда были только смутными представлениями, на которых, однако, остановились с тайной целью оградить определенный код от анализа.

Стремление уточнить содержание термина «масса» поистине нелепо: это попытка придать смысл тому, что его не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никогда не является ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объекта. «Крестьянские массы» старого времени массами как раз и не были: массу составляют лишь те, кто свободен от своих символических обязанностей (пойман в бесконечные «сети») и кому предназначено быть уже только многоликим результатом функционирования тех самых моделей, которым не удается их интегрировать и которые в конце концов предъявляют их лишь в качестве статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни предикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит ее определенность, или радикальная неопределенность. Она не имеет социологической «реальности». У нее нет ничего общего с каким-либо реальным населением, какой-либо корпорацией, какой-либо особой социальной совокупностью. Любая попытка ее квалификации является всего лишь усилием отдать ее в руки социологии и оторвать от той неразличимости, которая не есть даже неразличимость равнозначности (бесконечная сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1 – это ее социологическое определение), но выступает неразличимостью нейтрального, то есть ни того, ни другого («neuter»).

Полярности одного и другого в массе больше нет. Именно этим создаются данная пустота и разрушительная мощь, которую масса испытывает на всех системах, живущих расхождением и различием полюсов (двух или – в системах более сложных – множества). Именно этим определяется то, что здесь невозможен обмен смыслами: они тут же рассеиваются, подобно тому, как рассеиваются в пустоте атомы. Именно по этой причине в массе невозможно также и отчуждение: здесь больше не существуют ни один, ни другой.

Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребованной референциальности, всех не извлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений, – масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно.

Что касается невозможности распространить здесь смысл, то лучший пример тому – пример Бога. Массы приняли во внимание только его образ, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так.

Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла –

это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, – они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу – то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле – в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт.

Одна и та же участь постигла все великие схемы разума. Им довелось обрести себя и следовать своему историческому предназначению только на узких горных тропах социальности, удерживающей смысл (и прежде всего смысл социальный); но в массы они внедрились, по существу, лишь в искаженном виде, ценой крайней деформации. Так обстояло дело и с Разумом историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культурным, и с Разумом революционным; так обстояло дело и с самим Разумом социального – самым для нас интересным, поскольку, казалось бы, уж он-то в массах укоренен и, более того, именно он и породил их в процессе своей эволюции.

Являются ли массы «зеркалом социального»? Нет, они не отражают социальное. Но они и не отражаются в нем – зеркало социального разбивается от столкновения с ними. Этот образ все-таки не точен, ибо снова наводит на мысль о полноте субстанции, глухом сопротивлении. Массы, однако, функционируют скорее как гигантская черная дыра, безжалостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки энергии и световые излучения, которые с ней сближаются. Как имплозивная сфера ускоряющегося пространственного искривления, где все измерения вгибаются внутрь самих себя и свертываются в ничто, оставляя позади себя такое место, где может происходить только поглощение.

## Пучина, в которой исчезает смысл. Следовательно, исчезает информация

Каким бы ни было ее содержание – политическим, педагогическим, культурным, – именно она обязана передавать смысл, удерживать массы в поле смысла. Бесконечные морализаторские призывы к информированию: гарантировать массам высокую степень осведомленности, обеспечить им полноценную социализацию, повысить их культурный уровень и т. д. – диктуются исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах, однако, нет никакого толка: рациональная коммуникация и массы несовместимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьезного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы – это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным. Не приемлют массы лишь «диалектику» смысла. И утверждать, что относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. Для производителей смысла такое во всех отношениях далекое от истины предположение, конечно, удобно: предоставленные сами себе массы якобы все же стремятся к естественному свету разума. В действительности, однако, все обстоит как раз наоборот: именно будучи «свободными», они и противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату здравомыслия. Этого принудительного просвечивания, этого политического давления они опасаются, как смерти. Они чувствуют, что за полной гегемонией смысла стоит террор схематизации, и, насколько могут, сопротивляются ему, переводя все артикулированные дискурсы в плоскость иррационального и безосновного, туда, где никакие знаки смыслом уже не обладают и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы завораживать и околдовывать, – в плоскость зрелищного.

Еще раз: дело не в том, будто они кем-то дезориентированы, – дело в их внутренней потребности, экспрессивной и позитивной контрстратегии, в работе по поглощению

и уничтожению культуры, знания, власти, социального. Работе, идущей с незапамятных времен, но сегодня развернувшейся в полную силу. В контексте такого рода глубоко разрушительного поведения масс смысл неизбежно предстает как нечто совершенно противоположное тому, чем он казался ранее: отныне это не воплощение духовной силы наших обществ, под контролем которой рано или поздно оказывается даже и то, что пока от нее ускользает, – теперь это, наоборот, только неясно очерченное и мимолетное явление, эффект, своим возникновением обязанный уникальной пространственной перспективе, сложившейся в данный момент времени (История, Власть и т. д.); и он, этот по-новому представший смысл, всегда затрагивает, по существу, только самую малую часть наших «обществ», да и то лишь внешним образом. Сказанное верно также и для уровня индивидов: проводниками смысла нам дано быть не иначе как от случая к случаю – в сущности же мы образуем самую настоящую массу, большую часть времени находящуюся в состоянии неконтролируемого страха или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия.

Но этот новый взгляд на массы требует, чтобы мы пересмотрели все, что о них до сих пор говорилось.

Возьмем один из множества примеров пренебрежения смыслом, красноречиво характеризующий молчаливую пассивность.

В ночь экстрадиции Клауса Круассана телевидение транслирует матч сборной Франции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько адвокатов заняты разъездами по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены и возмущены столь вызывающим безразличием. Монд пишет: «21 час. В это время немецкий адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьет первый гол». Мелодрама негодования. И никакого серьезного анализа того, в чем же состоит тайна этой индифферентности. Постоянная ссылка на одно и то же: власть манипулирует массами, массы одурманены футболом.

Получается, что это безразличие не обязательно, для характеристики масс самих по себе оно ничего не значит. У «молчаливого большинства», иными словами, нет даже его индифферентности, и уличать и обвинять его в ней можно лишь после того, как власть все же склонит его к апатии.

Но сколько, однако, презрения в этом взгляде на массы! Считается, что, будучи дезориентированными, собственной линии поведения они иметь не могут. Правда, время от времени они якобы все же погружаются в родную для себя революционную стихию, благодаря чему «разумность их собственной воли» ими так или иначе осознается. Но в остальных случаях, как полагают, надо молить Господа, чтобы он хранил нас от их молчания и их инертности. А ведь именно это безразличие и необходимо было бы по-настоящему проанализировать. Вместо того чтобы рассматривать его как следствие, результат действия своего рода белой магии, постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природной революционности, нужно было бы взять его как нечто самостоятельное, в его собственной позитивной силе.

И почему, собственно говоря, это отвлечение масс от революционности удается? Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто– или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции – всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными – и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков – эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании

массами, а массы под ее воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того, ни другого нет, и то, и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, – это лежит на поверхности, и тем не менее именно это и только это делает массы массами.

Массы ориентированы не на высшие цели. Разумнее всего признать данный факт и согласиться с тем, что любая революционная надежда, любое упование на социальное и на социальные изменения, так и остаются надеждой и упованием исключительно по одной причине: массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняются от идеалов. Разумнее всего – вслед за Фрейдом, осуществившим подобную процедуру при исследовании строя психического, – именно этот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и, возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков смысла и рассматривать в качестве ничем не обусловленной данности, из которой необходимо исходить. (Вполне понятно, почему такого рода решительно меняющий точку отсчета коперниканский переворот до сих пор не произошел в исследованиях мира политического: для воззрений на политическое он чреват самыми глобальными потрясениями.)

## Возвышение и падение политики

По крайней мере со времени Великой французской революции политика и социальное предстают как нечто нераздельное, как созвездия-близнецы, так или иначе находящиеся в поле притяжения экономики. Эта их тесная связь обнаруживается и в наше время, однако весьма своеобразно – в одновременности их заката.

Сначала, в эпоху Возрождения, когда она возникает, когда внезапно выходит из сферы религиозного и церковного, чтобы заявить о себе как таковой голосом Макиавелли, политика есть лишь чистая игра знаков, чистая стратегия, не обременяющая себя никакой социальной или исторической «истиной», но, напротив, играющая на ее отсутствии (точно так же позднее светская стратегия иезуитов будет играть на отсутствии Бога). Политическое пространство в начале своего существования – явление того же порядка, что и пространство ренессансного механического театра или изобретенной в это же время в живописи перспективы. Форма является формой игры, а не системой представления, семиургией и стратегией, а не идеологией – она предполагает виртуозность, но никак не истину (такая игра, цепь ухищрений и их результат, изображена Бальтасаром Грасианом в его «Придворном»). Цинизм и имморализм макиавеллиевской политики связаны не с неразборчивостью в выборе средств, на чем настаивает крайне грубая ее интерпретация: их надо искать в свободном обращении с целями. Цинизм и имморализм, и это хорошо понимал Ницше, заключены именно здесь – в этом пренебрежении социальной, психологической и исторической истиной, в этом вобравшем в себя максимум политической энергии движении чистых симулякров, условием которого является то, что политика есть всего лишь игра и еще не отдала себя во власть разуму.

Но начиная с XVIII века, и особенно с Революции, направленность политического решительно меняется. Оно берет на себя функцию выражения социального, социальное становится его содержанием. Политическое теперь – это представление, над игрой властвуют механизмы репрезентации (аналогичным образом эволюционируют и театр – он оказывается

театром представления, – и пространство перспективы – из пространства машинерии, каким оно было первоначально, оно превращается в место фиксации истины пространства и истины репрезентации). Политическая сцена отныне отсылает к фундаментальному означаемому: народу, воле населения и т. д. На этот раз на нее выходят уже не чистые знаки, но смыслы: от политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации. И тем не менее равновесие между собственной сферой политического и силами, в ней отражающимися – социальными, историческими, экономическими, – будет сохраняться довольно долго. Так, во всяком случае, обстоит дело на протяжении золотого века буржуазных представительных систем (то есть в эпоху конституционности: Англия XVIII века, Соединенные Штаты Америки, Франция периода буржуазных революций, Европа 1848 года).

Конец политики, ее собственной энергии наступает с возникновением и распространением марксизма. Начинается эра полной гегемонии социального и экономического, и политическому остается быть лишь зеркалом – отражением социального в областях законодательства, институциональности и исполнительной власти. Насколько возрастает господство социального, настолько теряет в самостоятельности политическое.

Если для либеральной мысли характерна своего рода ностальгия по диалектическому равновесию между этими двумя сферами, то мысль социалистическая, революционная решительно настаивает на том, что придет время, когда политическое исчезнет, растворится в полностью прозрачном социальном.

Социальное овладело политическим. Но теперь, став всеобщим и всепоглощающим, низведя политическое до нулевой степени его существования, превратившись в абсолютное исходное основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и ментального пространства, – сохраняется ли оно еще как таковое? Нет, эта новая его форма свидетельствует о его конце: его энергия обращена против самой себя, его специфика исчезает, его исторической и логической определенности больше не существует. Утверждается нечто, в чем рассеивается не только политическое – его участь постигает и само социальное. У социального больше нет имени. Вперед выступает анонимность.

## Масса. Массы. Молчаливое большинство

Политическое как таковое, политическое чисто стратегической направленности угасает сначала в системе репрезентации, а окончательно – в рамках современной неофигуративности. Последняя предполагает все ту же самовозрастающую знаковость, но знаки теперь уже не обозначают: в «действительности», реальной социальной субстанции, им больше ничто не «соответствует». Что может выражаться в политическом, чем может обеспечиваться эффективная работа его знаков, если социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные условия»? Исчезает социальное означаемое – рассеивается и зависимое от него политическое означающее.

Единственный оставшийся референт – референт «молчаливого большинства». Этим темным бытием, этой текучей субстанцией, которая наличествует не социально, а статистически и обнаружить которую удается лишь приемами зондажа, обусловлены все функционирующие сегодня системы. Сфера ее проявления есть сфера симуляции в пространстве социального, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует.

Но молчаливое большинство (каковым являются массы) – референт мнимый. Это не значит, что оно не существует. Это значит, что оно не может иметь какой-либо репрезентации. Массы уже не выражают себя – их зондируют. Они не рефлектируют – их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума – средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдум, средства массовой информации

выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации. И ориентированы они уже на модель, а не на референт. С механизмами классической социальности (в состав которых по-прежнему входят выборы, институции, инстанции репрезентации, а также подавления) дело обстоит совершенно иначе: здесь все еще в силе диалектическая структура, поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь все еще в силе социальный смысл, который перемещается от полюса к полюсу.

У механизма симуляции эта структура отсутствует. В паре зондаж/молчаливое большинство, к примеру, нет ни противоположных, ни вообще выделенных элементов; нет, следовательно, и потока социального: его исчезновение – результат смешения полюсов в движении тотальной сигнальности (точно так же обстоит дело и на уровне ДНК и генетического кода – с молекулярной командой и субстанцией, в отношении которой она подается). Именно таким образом – по схеме сокрушения полюсов и круговращения моделей – и развертывается симуляция (это матрица любого имплозивного процесса).

Бомбардируемые рассчитанными на ответную реакцию сигналами, забрасываемые посланиями, атакуемые тестовыми испытаниями, массы оказываются теперь лишь непрозрачным, непроницаемым образованием, подобным тем скоплениям звездного газа, которые изучаются только методом анализа их светового спектра – данные статистики и результаты зондажа играют здесь ту же роль, что и спектр излучений. И речь теперь идет не о выражении или представлении, а исключительно о симуляции больше уже не выражаемого и в принципе невыразимого социального. Такова природа молчания масс. Но оно, следовательно, парадоксально – это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет на то, чтобы о нем говорили от его имени. Оно, стало быть, является отнюдь не формой отстраненности, а совершеннейшим по своему характеру оружием.

У молчаливого большинства не бывает представителей – репрезентация расплачивается за свое прошлое господство. Массы уже не инстанция, на которую можно было бы ссылаться, как когда-то на класс или народ. Погруженные в свое молчание, они больше не субъект (прежде всего не субъект истории) и, следовательно, не могут войти в сферу артикулированной речи, в сферу представления, не могут проходить «стадию (политического) зеркала» и цикл воображаемых идентификаций. Отсюда их главная особенность: не будучи субъектом, они уже не могут оказаться отстраненными от самих себя – ни в языке собственном (у них его нет), ни в любом другом, который претендовал бы на то, чтобы им стать. Но тогда революционные ожидания напрасны. Ибо они всегда основывались на вере в способность масс, как и класса пролетариев, отрицать себя как таковых. Однако масса – это поле поглощения и имплозии, а не негативности и взрыва.

Масса избегает схем освобождения, революции и историчности – так она защищается, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающему какую-либо «власть» массы над самой собой – масса есть в то же время и смерть, конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и политическую волю, и политическую репрезентацию.

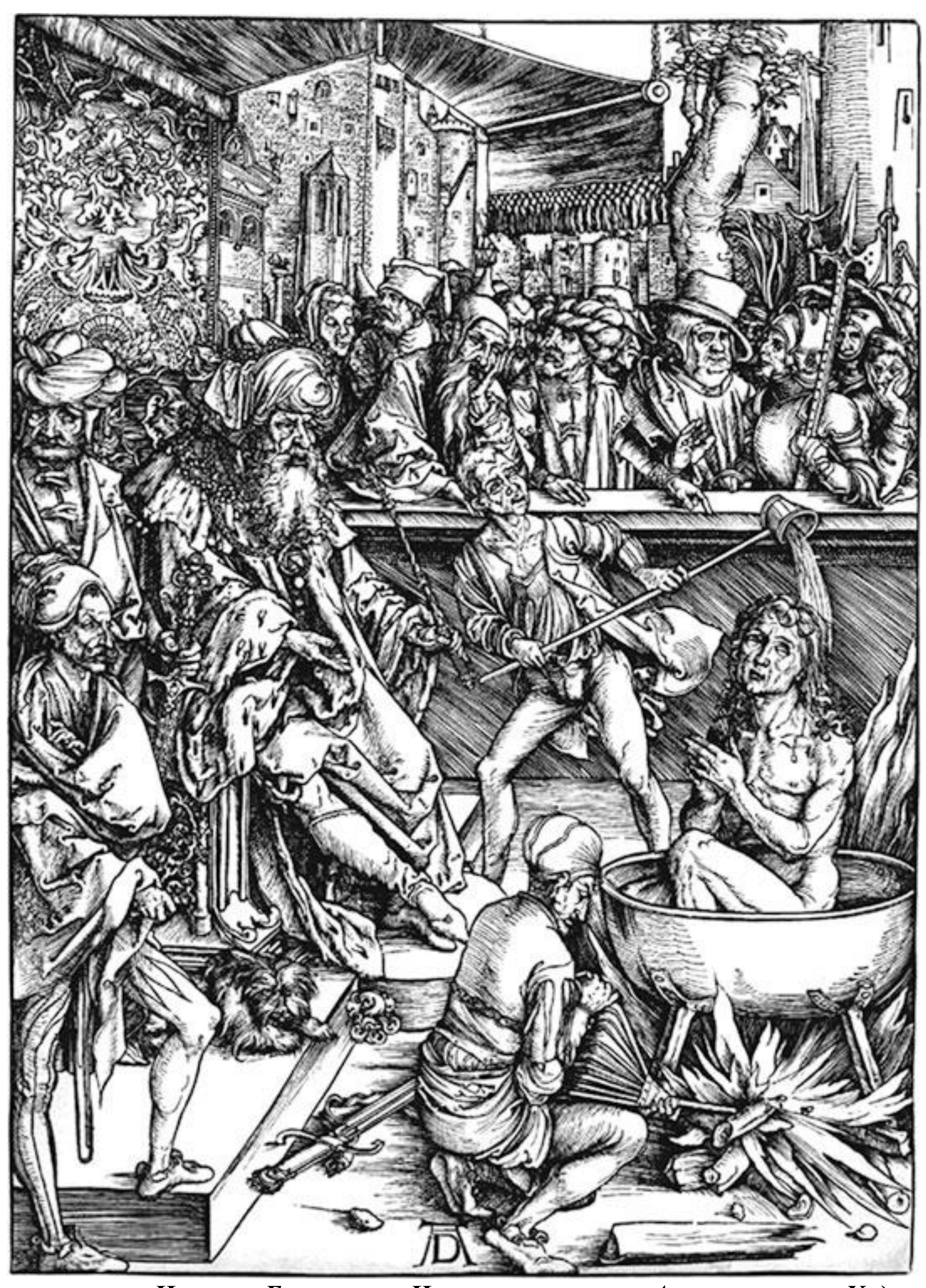
Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться властью. У власти сложилось убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять. Исходя из него она и действовала в период, когда властные механизмы были централизованы и бюрократизированы. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает ее крах. Отсюда радикальная трансформация ее стратегических установок: вместо поощрения пассивности – подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения молчания – призывы высказываться. Но время уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального сменилась его инволюцией в поле инертности.

От масс постоянно требуют, чтобы они подали свой голос, им навязывают

социальность избирательных кампаний, профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля за руководством, празднований, свободного выражения мнений и т. д. Призрак должен заговорить, и он должен назвать свое имя. Молчание масс, безмолвие молчаливого большинства – вот единственная подлинная проблема современности.

На то, чтобы удержать эту массу в состоянии управляемой эмульсии и защититься от инерции ее неконтролируемой тревожности, тратится огромная энергия. Воля и репрезентация над массой уже не властвуют, но она сталкивается с напором диагностики, чистой проницательности. Она попадает в безграничное царство информации и статистики: нужно уловить ее самочувствие, выяснить позицию, побудить высказать какое-то пророчество. С ней активно заигрывают, ее окружают заботой, на нее воздействуют. И она откликается: «Французский народ полагает… Большая часть немцев осуждает… Вся Англия испытывает неописуемую радость по поводу рождения принца…» и т. д.

Ее предсказания кажутся следствиями ее дара предвосхищения и ее всезнания, но в них абсолютно ничто не отражается.



***Мученичество Иоанна Богослова. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Отсюда эта бомбардировка массы знаками, на которую ей полагается отвечать подобно эху. Ее исследуют методом сходящихся волн, используя световые и лингвистические сигналы – совсем как удаленные звезды или ядра, которые бомбардируют частицами в циклотроне. На сцену выходит информация. Но не в плане коммуникации, не в плане передачи смысла, а как способ поддержания эмульсионности, реализации обратной связи и контролируемых цепных реакций – точно в таком же качестве она выступает в камерах атомной симуляции. Высвобождаемая «энергия» массы должна быть направлена на построение «социального».

Однако результат получается обратным. Развертывание информационности и средств защиты, в каких бы формах оно ни происходило, ведет к тому, что социальное не упрочивается, а, наоборот, теряет свою определенность, гибнет.

Принято считать, что, вводя в массы информацию, их структурируют, что с помощью информации и посланий высвобождается заключенная в них социальная энергия (сегодня уровень социализации измеряется не столько степенью развитости институциональных связей, сколько количеством циркулирующей информации и тем, какой ее процент распространяется телевидением, радио, газетами и т. д.). На самом же деле все складывается прямо противоположным образом. Вместо того чтобы трансформировать массу в энергию, информация осуществляет дальнейшее производство массы. Вместо того чтобы информировать, то есть, в соответствии с ее предназначением, придавать форму и структуру, она еще больше ослабляет – «поле социальности» под ее воздействием неуклонно сокращается. Все увеличивающаяся в своих размерах создаваемая ею инертная масса совершенно неподконтрольна классическим социальным институциям и невосприимчива к содержанию самой информации. Ранее властвовало социальное – и его рациональная сила разрушала символические структуры, сегодня на первый план выходят «mass media» и информация – и их «иррациональным» неистовством разрушается уже социальное. Ибо благодаря им мы имеем дело именно с ней – этой состоящей из атомов, ядер и молекул массой. Таков итог двух веков усиленной социализации, знаменующий ее полный провал.

Масса является массой только потому, что ее социальная энергия уже угасла. Это зона холода, способная поглотить и нейтрализовать любую действительную активность. Она похожа на те практически бесполезные устройства, которые потребляют больше, чем производят, на те уже истощенные месторождения, которые продолжают эксплуатировать, неся большие убытки.

Энергия, затрачиваемая на ликвидацию отрицательных последствий постоянного снижения отдачи от политических мероприятий, на предотвращение окончательного распада социальной организации реальности, на то, чтобы поддержать симуляцию социального и помешать его полному поглощению массой, – эта энергия огромна, и ее потеря низвергает систему в пропасть.

Со смыслом дело обстоит, в сущности, так же, как с товаром. Долгое время капитал заботился только о производстве – с потреблением затруднений не возникало. Сегодня надо думать и о потреблении, а значит, производить не только товары, но и потребителей, производить сам спрос. И это второе производство неизмеримо дороже первого (социальное родилось главным образом из этого кризиса спроса, особенно заметного начиная с 1929 года: производство спроса и производство социального – это в значительной мере одно и то же)

Но точно так же и власть в течение долгого времени довольствовалась лишь тем, что производила смысл (политический, идеологический, культурный, сексуальный); спрос же развивался сам, он вбирал в себя предложение и тут же ожидал нового. Смысла недоставало, и всем революционерам приходилось приносить себя в жертву наращиванию его производства. Сейчас дело обстоит иначе: смысл повсюду, его производят все больше и больше, и недостает уже не предложения, а как раз спроса. Производство спроса на смысл – вот главная проблема системы. Без этого спроса, без этой восприимчивости, без этой минимальной причастности смыслу власть оказывается не более чем простым симулякром, всего лишь эффектом пространственной перспективы. Однако и в данном случае второе производство – производство спроса на смысл – гораздо дороже, чем производство первое – то есть производство самого смысла. И в конце концов производство спроса на смысл станет неосуществимым: энергии системы на него больше не хватит. Спрос на предметы и услуги, пусть и дорогой ценой, всегда может быть создан искусственно: у системы есть соответствующий опыт. Но потребность в смысле, но желание реальности, однажды исчезнув, восстановлению уже не поддаются. Для системы это катастрофа.

Масса впитывает всю социальную энергию, и та перестает быть социальной энергией. Масса вбирает в себя все знаки и смысл, и те уже не являются знаками и смыслом.

Она поглощает все обращенные к ней призывы, и от них ничего не остается. На все поставленные перед ней вопросы она отвечает совершенно одинаково. Она никогда ни в чем не участвует. Ее подвергают разного рода воздействиям и тестовым испытаниям, но она представляет собой именно массу, и потому с полным безразличием пропускает сквозь себя и воздействия (причем все воздействия), и информацию (причем всю информацию), и нормативные требования (причем все нормативные требования). Она навязывает социальному абсолютную прозрачность, оставляя шансы на существование лишь эффектам социального и власти – этим созвездиям, вращающимся вокруг уже отсутствующего ядра.

Молчание массы подобно молчанию животных, более того, оно ничем не отличается от последнего. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу (а непрерывное воздействие, которое на нее обрушивается, натиск информации, который она вынуждена выдерживать, равносильны испытаниям, выпадающим на долю подопытных животных в лабораториях) – она не скажет ни того, где для нее – на стороне левых или на стороне правых – истина, ни того, на что она – на освободительную революцию или на подавление – ориентирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для нее это совершенно пустые слова. Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознательном.

Такое молчание невыносимо. Оно является неизвестным политического уравнения, аннулирующим любые политические уравнения. Все стремятся в нем разобраться, однако обращаются с ним не как с молчанием – им всегда необходимо, чтобы оно заговорило. Но зондированию сила инерции масс неподвластна: она не поддается ему потому, что как раз благодаря ей массы нейтрализуют любое зондирующее исследование. Это молчание переводит политическое и социальное в сферу гиперреальности, где они сейчас и находятся. Ибо если политическое пытается ограничить массы пространством, где царствуют эхо и социальная симуляция (используя информацию и средства информирования), то массы, со своей стороны, и оказываются таким пространством эха и невиданной симуляции социального. Здесь никогда не было никакой манипуляции. В игре участвовали обе стороны, они находились в равных условиях, и никто сегодня, видимо, не может с уверенностью сказать, какая же из них одержала верх: симуляция, с которой обрушилась на массы власть, или ответная симуляция, обращенная массами в направлении распадающейся под ее влиянием власти.

## Ни субъект, ни объект

Масса парадоксальна – она выступает одновременно и объектом симуляции (поскольку существует только в пункте схождения всех волн информационного воздействия, которые ее описывают), и ее субъектом, способным на гиперсимуляцию: все модели она видоизменяет и снова приводит в движение (это ее гиперконформизм, характерная форма ее юмора).

Масса парадоксальна – она не является ни субъектом (субъектом-группой), ни объектом. Когда ее пытаются превратить в субъект, обнаруживают, что она не в состоянии быть носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, ее стремятся сделать объектом, то есть рассматривают в качестве подлежащего обработке материала, и ставят целью проанализировать объективные законы, которым она якобы подчиняется, становится ясно, что ни обработке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур и совокупностей она не поддается. Любое воздействие на массу, попадая в поле ее тяготения, начинает двигаться по кругу: оно проходит стадии поглощения, отклонения и нового поглощения. Чем такое воздействие завершится, с абсолютной точностью предсказать невозможно, но вероятнее всего, что непрерывное круговое движение отнимет у него все силы и оно угаснет, полностью перечеркнув планы тех, кто его предпринял. Эта диффузная, децентрированная, броуновская, состоящая из молекулярных образований реальность неподвластна никакому анализу: понятие объекта к ней неприложимо точно так же, как оно неприложимо и к предельному уровню материи, «анализируемому» в микрофизике. Область «материи» элементарных частиц – это место, где нет ни объекта,

ни субъекта, субъекта наблюдения. Ни объект познания, ни субъект познания здесь больше не существуют.

Масса олицетворяет такое же – пограничное и парадоксальное – состояние социального. Она уже не объективируема (на языке политики это значит, что она не может иметь представительства) и останавливает любую активность, которая оказывается активностью стремящегося к ее постижению субъекта (в политическом плане это значит, что она предотвращает любые попытки выступать от ее имени). Выражать ее способны лишь зондаж и статистика (работающие в том же режиме, что и математическая физика, опирающаяся на закон больших чисел и теорию вероятностей), но очевидно, что практика заклинаний и магических ритуалов, взятая ими на вооружение, – это практика без действительного объекта, и в отношении масс она оправдывает себя только потому, что массы таким объектом как раз и не являются. Заклинания и ритуалы имеют дело не с объектом, который может быть представлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение. Ими он поэтому не схватывается, а всего лишь симулируется. Ими он «производится»: они предрешают то, как он отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих от него сигналов. Но эта реакция и эти сигналы выступают, очевидно, и его собственными реакцией и сигналами, свидетельствуют и о его собственной воле. Содержание, выражаемое неустойчивыми, существующими очень короткое время, предназначенными для реализации некоторого воздействия знаками – а знаки зондажа являются именно таковыми, – допускает различные и вместе с тем одинаково возможные толкования. Всем известно, сколь фундаментальна неопределенность, имеющая место в мире статистики (теория вероятностей и теоремы закона больших чисел также исходят из неопределенности и также вряд ли могут основываться на представлении о материи, которой свойственны те или иные «объективные законы»).

Утверждение, что методы научного эксперимента, используемые в так называемых точных науках, гарантируют знанию гораздо более высокую степень истинности, чем приемы зондажа и статистических исследований, весьма сомнительно. Если «объективное» познание, в какой бы конкретно науке оно ни осуществлялось, подчиняется системе установленных правил, регулируется, то и оно связано с истиной, являющейся только циркуляром, то есть движущимся по кругу сигналом, и не предполагающей никакого объекта. У нас, во всяком случае, достаточно оснований полагать, что мир все же не объективируем и что даже неодушевленная материя, с которой различные науки о природе обходятся так же (один и тот же подход, одни и те же процедуры), как статистика и зондирующее исследование обходятся с массами и одушевленным «социальным», – даже неодушевленная материя реагирует на воздействие сигналами, оказывающимися всего лишь отраженными сигналами воздействия, выдает ответы, уже заранее содержащиеся в обращенных к ней вопросах. Она тоже, как и массы, демонстрирует тот постоянно раздражающий конформизм, который в конце концов и позволяет ей, как он позволяет это и массам, благополучно избежать участи стать объектом.

«Материи», да и, по всей видимости, любому «объекту» науки вообще, свойственна та же удивительная ироничность, что характеризует и массы, когда они молчат или когда, воспользовавшись языком статистики, отвечают на вопросы именно так, как от них и требуется. Эта ироничность сближается с бесконечной иронией женственности, о которой говорит Гегель, – иронией притворной преданности и чрезмерной законопослушности.

Она симулирует пассивность и покорность столь тщательно, что от последних, как в случае с бессмертным солдатом Швейком, по сути дела, уже ничего не остается.

Именно ее, судя по всему, и имеет в виду патафизика, или наука о воображаемых решениях – наука о симуляции и гиперсимуляции вполне определенного, подлинного, объективного, подчиняющегося универсальным законам мира, включая симуляцию и гиперсимуляцию, осуществляемые теми, кто категорически убежден, что мир подчиняется данным законам. Очевидно, именно благодаря массам и их непроизвольному юмору мы

и входим в патафизику социального, наконец освобождающую нас от всей этой метафизики социального, которая давно нам мешает.

Сказанное полностью противоречит тому, что принято понимать под процессом постижения истины, но последний, похоже, лишь иллюзия движения смысла. Ученый не может согласиться с мнением, согласно которому неживая материя или живое существо отвечают на обращенные к ним «вопросы» «не вполне» или, наоборот, «слишком объективно» (в обоих случаях это означает, что «вопросы» поставлены неправильно). Уже само такое предположение кажется ему абсурдным и недопустимым. Ученые бы его никогда не выдвинули. И они поэтому никогда не выйдут из заколдованного круга производимой ими симуляции строгого исследования.

Повсюду в силе одна и та же гипотеза, одно и то же полагание надежности. Тот, кто занимается рекламой, просто обязан исходить примерно из следующего: люди к рекламе так или иначе прислушиваются, и поэтому всегда существует хотя бы минимальная возможность того, что послание достигнет своей цели и смысл его будет расшифрован. Всякое сомнение на этот счет должно быть исключено. Если бы выяснилось, что показатель преломления потока сообщений у получателя равен нулю, здание рекламы рухнуло бы в ту же минуту. Реклама живет исключительно этой верой, которую она постоянно в себе поддерживает (речь идет о ставке того же рода, что и ставка науки на объективность мира) и которую даже и не пытается по-настоящему проанализировать из страха обнаружить, что столь же правомерно предположить и обратное, а именно что огромное большинство рекламных сообщений никогда не доходит по назначению, что тем, кому они направлены, уже безразлично их содержание, преломляющееся теперь в пустоте, что людей интересует только медиум – носители посланий, выступающие эффектами среды, эффектами, движение которых выливается в завораживающий спектакль. Маклюэн когда-то сказал: «Medium is message». Эта формула как нельзя лучше характеризует современную, «cool», фазу развития всей культуры средств массовой информации, фазу охлаждения, нейтрализации любых сообщений в пустом эфире, фазу замораживания смысла. Критическая мысль оценивает и выбирает, она устанавливает различия и с помощью селекции заботится о смысле. Массы поступают иначе: они не выбирают, они производят не различия, а неразличенность, требующему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз медиум. Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, как смысл остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства массовой информации. Использование гипноза – это принцип их действия, и, руководствуясь им, они оказываются источником специфического массированного насилия – насилия над смыслом, насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода. Возникает вопрос: какую же?

Гипотеза, согласно которой коммуникация может осуществляться вне медиум-смысла и интенсивности коммуникативного процесса и снижаться по мере того, как этот смысл растворяется и исчезает, – для нас неприемлема. Ибо подлинное удовольствие мы испытываем не от смысла или его нарастания – нас очаровывает как раз их нейтрализация. Нейтрализация, порождаемая не каким-то влечением к смерти (его действие свидетельствовало бы о том, что жизнь все еще ориентирована в сторону смысла), но просто-напросто враждебностью, отвращением к референции, посланию, коду, к любым категориям лингвистического предприятия – порождаемая отказом от всего этого во имя одной лишь очаровывающей имплозии знака (последняя состоит в растворении полюсов значения: больше нет ни означающего, ни означаемого). Мораль смысла во всех отношениях представляет собой борьбу с очарованием – вот чего не может понять ни один из защитников смысла.

Исключительно из полагания надежности исходит и политическая сфера: для нее массы восприимчивы к действию и дискурсу, имеют мнение, наличествуют как объект зондажа и статистических исследований. Только при этом условии политический класс все еще

может сохранять веру в то, что он и выражает себя и понимается именно как явление политики. Однако в действительности политическое уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем. Спектакль, воспринимаемый как полуспортивный-полуигровой дивертисмент (вспомним выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты в Соединенных Штатах или вечерние предвыборные дебаты на радио и телевидении), в духе завораживающей и одновременно насмешливой старой комедии нравов. Предвыборное действо и телеигры – это в сознании людей уже в течение длительного времени одно и то же. Народ, ссылки на интересы которого были всегда лишь оправданием очередного политического спектакля и которому позволяли участвовать в данном представлении исключительно в качестве статиста, берет реванш – он становится зрителем спектакля театрального, представляющего уже политическую сцену и ее актеров.

Народ оказался публикой. Моделью восприятия политической сферы служит восприятие матча, художественного или мультипликационного фильма. Точно так же, как зрелищем на домашнем телеэкране, население заворожено и постоянными колебаниями своего собственного мнения, о которых оно узнает из ежедневных газетных публикаций результатов зондажа. И ничто из этого не рождает никакой ответственности. Сознательными участниками политического или исторического процесса массы не становятся ни на минуту. Они вошли когда-то в политику и историю только с тем, чтобы дать себя уничтожить, то есть будучи как раз абсолютно безответственными. Здесь нет бегства от политического – это следствие непримиримого антагонизма между классом (возможно, кастой), несущим социальное, политическое, культуру, властвующим над временем и историей, и всем тем, что осталось, – бесформенной, находящейся вне сферы смысла массой. Первый постоянно стремится укрепить смысл, поддержать и обогатить поле социального, вторая не менее настойчиво обесценивает любую смысловую энергию, нейтрализует ее или направляет в обратную сторону. И верх в этом противостоянии взял отнюдь не тот, кто считается победителем.

Свидетельством тому может служить радикальное изменение взаимоотношения между историей и повседневностью, между публичной и частной сферами. Вплоть до 60‑ х годов полюсом силы выступала история: частное, повседневное оказывались лишь обратной, теневой стороной политического. Поскольку, однако, взаимодействие данных сторон выглядело в высшей степени диалектичным, имелись все основания надеяться, что повседневное, равно как и индивидуальное, однажды займут достойное место по ту сторону исторического, в царстве универсальности. Конечно, эта перспектива воспринималась как отдаленная – слишком очевидными были вызывающие сожаление ограниченность активности масс сферой домашнего хозяйства, их отказ от истории, политики и универсального, их рабская зависимость от процесса тупого каждодневного потребления (успокаивало одно: они заняты трудом, благодаря чему за ними сохраняется статус исторического «объекта» – до того момента, пока они не обретут сознание). Сегодня представление о том, какой из двух полюсов является сильным, а какой слабым, становится прямо противоположным: мы начинаем подозревать, что повседневное, будничное существование людей – это, весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории и, более того, что уход масс в область частной жизни – это, скорее всего, непосредственный вызов политическому, форма активного сопротивления политической манипуляции. Роли меняются: полюсом силы оказываются уже не историческое и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыденная, текущая жизнь, все то (включая сюда и сексуальность), что заклеймили как мелкобуржуазное, отвратительное и аполитичное.

Итак, полный переворот во взглядах. Деполитизированные массы, судя по всему, находятся не по эту, а по ту сторону политического. Частное, низкое, повседневное, малозначимое, маленькие хитрости, мелкие извращения и т. д., по всей видимости, располагаются не по эту, а по ту сторону репрезентации. Массы, как выясняется, озабочены приведением в исполнение того смертного приговора политическому, который они вынесли,

не дожидаясь исследований на тему «конца политики»; в своей «наивной» практике они трансполитичны в той же мере, в какой они транслингвистичны в своем языке.

Но обратим внимание: из этой вселенной частного и асоциального, не подчиняющейся диалектике репрезентации и выхода к универсальности, из этой сферы инволюции, противостоящей любой революции в верхах и отказывающейся играть ей на руку, кое-кто хотел бы сделать (рассматривая ее прежде всего в аспекте сексуальности и желания) новый источник революционной энергии, хотел бы возвратить ей смысл и восстановить в правах как некую историческую отрицательность, причем во всей ее тривиальности. Налицо стремление активизировать микрожелания, мелкие различия, слепые практики, анонимную маргинальность. Налицо последняя попытка интеллектуалов усилить незначительное, продвинуть бессмыслие в порядок смысла. И образумить тем самым данное бессмыслие политически. Банальность, инертность, аполитизм были фашистами, теперь они близки к тому, чтобы стать революционерами – и все это не меняя смысла, то есть не переставая иметь смысл. Микрореволюция банальности, трансполитика желания являются еще одним трюком «освободителей». На самом же деле отказ от смысла смысла не имеет.

## От сопротивления к гиперконформизму

Появление молчаливого большинства нужно рассматривать в рамках целостного процесса исторического сопротивления социальному. Конечно, сопротивления труду, но также и медицине, школе, разного рода гарантиям, информации. Официальная история регистрирует лишь одну сторону дела – прогресс социального, оставляя в тени все то, что, будучи для нее пережитками предшествующих культур, остатками варварства, не содействует этому славному движению. Она подводит к мысли, что на сегодняшний день социальное победило полностью и окончательно, что оно принято всеми. Но с развитием социальности развивалось и сопротивление ей, и последнее прогрессировало еще более быстрыми темпами, чем сама социальность. И теперь оно существует по преимуществу уже не в тех грубых и примитивных формах, которые были свойственны ему вначале (сегодня прогрессу социального благодарны, сегодня только сумасшедшие отказываются пользоваться такими благами цивилизации, как письменность, вакцинация или социальные гарантии). Прежнее открытое сопротивление соответствовало этапу столь же открытой и грубой социализации и исходило от традиционных групп, стремящихся сохранить свою культуру, изначальный уклад жизни. Гомогенной и абстрактной модели социального сопротивлялась еще не масса, а дифференцированные структуры.

Этот прежний тип сопротивления проанализирован в концепции «two steps flow of communication» («двухуровневой коммуникации»), которая разработана американской социологией и согласно которой масса вовсе не образует структуру пассивного приема сообщений средств информации, будь то сообщения политического, культурного или рекламного характера. На первом уровне коммуникативного процесса микрогруппы и индивиды их расшифровывают, но, совершенно не склонные к точному, в соответствии с установленными правилами, их прочтению, делают это по-своему. На втором – они с помощью своих лидеров этот поток посланий захватывают и преобразуют. Они начинают с того, что господствующему коду противопоставляют свои особые субкоды, а заканчивают тем, что любое приходящее к ним сообщение заставляют циркулировать в рамках специфического, определяемого ими самими цикла. Но точно так же поступают и дикари, у которых европейские деньги находятся в уникальном, характерном только для их культур символическом обращении (к примеру, у сианов Новой Гвинеи), или корсиканцы, у которых система всеобщего избирательного права и выборности функционирует по законам соперничества кланов. Эта манера подсистем добиваться своего путем присвоения, поглощения, подчинения распространяемого доминирующей культурой материала, эта их хитрость заявляет о себе повсюду. Именно благодаря ей «отсталые» массы превращают медицину в своеобразную «магию». И они делают это не по причине, как принято считать,

архаичности и иррациональности своего мышления, а потому, что и в данной ситуации придерживаются характерной для них активной стратегии нейтрализующего присвоения, не анализируемого ими, но тем не менее сознательного (ибо они обладают сознанием «без знания») противодействия внешнему – стратегии, которая позволяет им с успехом защититься от губительного для них влияния рациональной медицины.

Однако здесь перед нами именно структурированные, традиционные – и с формальной, и с содержательной точек зрения – группы. Иное дело – когда угроза для социализации исходит от масс, то есть групп чрезвычайно многочисленных, внушающих страх и безликих, сила которых заключена, наоборот, в их бесструктурности и инертности. В случае со средствами массовой информации традиционное сопротивление сводится к тому, чтобы интерпретировать сообщения по-своему – в рамках особого кода группы и в контексте ее установок. Массы же принимают все и абсолютно все делают зрелищным; им не требуется другой код, им не требуется смысл; они, в сущности, не сопротивляются – они просто обрекают все на соскальзывание в некую неопределенную сферу, которая даже не является сферой бессмыслия, а выступает областью всеохватывающего гипноза/манипуляции.



***Видение Иоанном семи светильников. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Всегда считалось, что массы находятся под влиянием средств массовой информации – на этом построена вся идеология последних. Сложившееся положение объясняли эффективностью знаковой атаки на массу. Но при таком весьма упрощенном понимании процесса коммуникации упускается из виду, что масса – медиум гораздо более мощный, чем все средства массовой информации, вместе взятые, что, следовательно, это не они ее подчиняют, а она их захватывает и поглощает или по меньшей мере она избегает подчиненного положения. Существуют не две, а одна-единственная динамика – динамика

массы и одновременно средств массовой информации. «Mass(age) is message».

Та же ситуация и с кино, которое создавалось как медиум рационального, документального, содержательного, социального и которое очень быстро и решительно сместилось в сферу воображаемого.

Та же ситуация и с техникой, наукой и знанием. Они обречены на существование в качестве магических практик и предназначенных для потребления зрелищ. Та же ситуация и с самим потреблением. Экономисты, к своему изумлению, так и не смогли рационализировать его, несмотря на основательность их «теории потребностей», несмотря на согласие массы с их рассуждениями о том, что в действительности является полезным, а что нет. Ибо на поведении массы этот ее консенсус с экономистами обычно (а может быть, и никогда) не сказывается. Масса перевела потребление в плоскость, где его уровень оказывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за всякие разумные пределы или симулируется, где царствует потлач, который отменяет какую бы то ни было потребительную стоимость. Обращенные к ней настойчивые призывы к правильному, рациональному потреблению раздаются со всех сторон (они исходят и от официальной пропаганды, и от общества потребителей, и от ассоциаций экологов и социологов), но все напрасно. Ориентируясь на стоимость/знак не задумываясь, делая на это ставку (что экономистами всегда – даже когда представление об этой стоимости как о чем-то весьма неустойчивом они пытались ввести в свои теории – рассматривалось в качестве отступления от принципов экономического разума), масса разрушает экономику, выступает против «объективного» императива потребностей и рационального контроля за намерениями и устремлениями. Если стоимость/знак противопоставляется ею потребительной стоимости, то отсюда следует, что она обесценивает уже и политическую экономию. Утверждение, будто все это в конце концов укрепляет стоимость меновую, то есть систему, не выдерживает критики. Ибо, хотя система и сохраняет еще способность с успехом защищаться от данной игры и даже использует ее в своих интересах (ей выгодно наличие массы, потерявшей рассудок от создаваемых для кухни технических новинок и т. п.), такого рода соскальзывание, такого рода смещение, которые практикуются массами, означают, что экономическое, почти не ограниченное никакими пределами, получившее чуждую себе направленность, превратившееся в магический ритуал и театрализованное представление, доведенное массами до состояния пародии на самого себя, – это экономическое уже сейчас утратило всю свою рациональность, уже сейчас переживает свой конец. Массы (мы, вы, все), вопреки надеждам учителей, вопреки всем призывам воспитателей-социалистов, сделали его асоциальным, отклоняющимся от нормы и продемонстрировали, что отныне не ориентируются ни на какую политическую экономию. Они не стали готовиться к будущим революциям и брать на вооружение теории, в соответствии с которыми они должны «освободиться» от экономического в рамках «диалектики» поступательного движения. Они знают, что ни против чего, строго говоря, не восстают, что упраздняют систему, всего лишь подталкивая ее к функционированию по законам гиперлогики, в режиме предельной нагрузки, который ей противопоказан. Они заявляют: «Вы хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, мы будем потреблять все больше и больше. Мы будем потреблять все что угодно. Без всякой пользы и смысла».

Так же обстоит дело и с медициной: и здесь прямое сопротивление (которое, впрочем, окончательно не исчезло) было оттеснено в сторону вариантом ниспровержения более гибким – гипертрофированно, необузданно почтительным к ней отношением, панически слепым подчинением ее предписаниям. Фантастический рост потребления в секторе медицинских услуг, полностью лишающий медицину ее социального характера, – лучшего средства для ее уничтожения не придумаешь. Отныне уже и сами врачи не знают, чем они занимаются, в чем заключается их функция, поскольку масса воздействует на них в гораздо большей степени, чем они на массу. Пресса вынуждена констатировать: «Люди требуют от медицины заботы, хороших врачей, лекарств, гарантий здоровья – им всего этого мало, они хотят еще, все больше и больше, и они хотят этого без конца».

Перестают ли массы в своем отношении к медицине быть массами? Отнюдь нет: они разрушают ее как социальный институт, подрывают систему социального обеспечения; требуя увеличения предоставляемых им медицинских услуг, они ставят под удар социальное как таковое. Видеть в социальном предмет индивидуального потребления, товар, цена которого зависит от колебаний спроса и предложения, – что может быть большим издевательством над этим социальным? Пародия на подчинение и вытекающий из нее парадокс: массы выходят за пределы логики социального, расшатывают всю его конструкцию именно потому, что в своих действиях следуют его законам. Разрушительная гиперсимуляция, деструктивный гиперконформизм (как и в ситуации с Бобуром, которая была проанализирована по другому поводу) приобретают черты самого решительного вызова, и в полной мере оценить его мощь, предсказать, какими последствиями для системы он обернется, сегодня не сможет никто. Существо нашей современности не заключено ни в борьбе классов, ни в неупорядоченном броуновском взаимодействии лишенных желания меньшинств – оно состоит именно в этом глухом, но неизбежном противостоянии молчаливого большинства навязываемой ему социальности, именно в этой гиперсимуляции, усугубляющей симуляцию социального и уничтожающей его по его же собственным законам.

## Масса и терроризм

Мы живем в это странное время, когда массы не соглашаются носить имя социального и тем самым отказываются и от смысла, и от свободы. Но отсюда не следует, что они включены в какую-то иную – новую и не менее славную – референцию. Ибо они не существуют. Можно лишь констатировать, что, столкнувшись с ними, начинает медленно разваливаться любая власть. Молчаливое большинство – это не сущность и не социологическая реальность, это тень, отбрасываемая властью, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглощающая ее форма. Текучее, неустойчивое, податливое, слишком быстро уступающее любому воздействию скопление, характеризующаяся гиперреальным конформизмом, крайней степенью пассивности туманность – вот виновник сегодняшней гибели власти. Но точно так же и краха революции, потому что такого рода имплозивная масса по определению никогда не взорвется и, следовательно, неизбежно нейтрализует любой обращенный к ней революционный призыв. Как же тогда быть с этими массами? Они являются основной темой всех дискурсов, ориентация на них стала навязчивой идеей любого социального проекта. И тем не менее всех, кто на них ставит, постигает неудача, поскольку каждый, кто это делает, масс не знает – он исходит из их классической дефиниции, которая сложилась в контексте эсхатологической надежды на социальное и его осуществление. Но массы – это не социальное, это отступление всякого социального и всякого социализма. Конечно, всегда было достаточно и теоретиков иной ориентации, с подозрением относящихся к смыслу, указывающих на тупики свободы и разоблачающих политический обман, резко критикующих рациональность и любую форму репрезентации. Массы, однако, не критикуют – смысла, политического, репрезентации, истории, идеологии они избегают, опираясь на силу сомнамбулического отказа. Они действуют – здесь и теперь они осуществляют то, что так или иначе имеет в виду и наиболее радикальная критика, которая тем не менее, не зная, как реализовать свои замыслы, упорно продолжает мечтать о будущей революции: революции критической, революции престижа, социального, желания. Но уже происходящей – инволюционной, а не активно-критической – революции она не замечает. Последняя имплозивна и не направляется никакими идеями. Она основана на инерции, а не на бодрой и радостной негативности. Она молчалива и именно инволютивна, то есть абсолютно исключает революционные речи и призывы к сознательности. У нее нет смысла. Ей нечего нам сказать.

К тому же единственный феномен, который близок массе как виновнику потрясений и смерти социального, – это терроризм. С одной стороны, масса и терроризм –

непримиримые враги, и власть без труда сталкивает их друг с другом. Но с другой – есть и то, в чем они удивительным образом совпадают: отрицает социальное и отказывается от смысла не только масса – это характерно и для терроризма. Терроризм полагает, что он выступает против капитала (мирового империализма и т. п.), но он ошибается – на деле он противодействует социальному, которое и является его настоящим противником. Современный терроризм держит под прицелом социальное в ответ на терроризм социального. И он держит под прицелом именно современное социальное: переплетение сфер, связей, центров и структур, сеть контроля и блокировки – все то, что окружает нас со всех сторон и благодаря чему мы, все мы, оказываемся молчаливым большинством. Перед ним новая – гиперреальная, неуловимая, опирающаяся уже не на закон, репрессии и насилие, а на внедрение моделей и на убеждение/разубеждение – социальность, и он отвечает на ее вызов не чем иным, как гиперреальным же действием – действием, которое с самого начала погружено в расходящиеся в разных направлениях волны средств массовой информации и гипноза, которое развертывается не в области репрезентации и сознания, рефлексии и логики причинно-следственной зависимости, а там, где заявляет о себе мышление, черпающее свою силу в механизмах совместных положительных или отрицательных переживаний, в механизмах цепной реакции передачи настроения. Терроризм столь же лишен смысла и столь же неопределенен, как и система, с которой он борется и в которую, по сути дела, включен в качестве средоточия максимальной и одновременно исчезающе малой имплозии. Терроризм – это не вспышка исторической и политической критики, он по-настоящему имплозивен, и он вызывает оцепенение, ошеломляет, а потому внутренне связан с молчанием и пассивностью масс.

Терроризм направлен не на то, чтобы заставить говорить, воодушевить или мобилизовать, – он не приводит к революции (в этом плане он, пожалуй, абсолютно контрпродуктивен; но, вменяя ему в вину вред, который он наносит революционному движению, надо учитывать, что он и не стремится быть революционером). Он ориентирован на массы именно в их молчании, массы, загипнотизированные информацией. Он концентрирует свое внимание исключительно на современном социальном, на этой постоянно влияющей на нас белой магии информации, симулирования, разубеждения, анонимного и произвольного управления, на этой магии абстракции – магии, которую он максимально активизирует и которую, таким образом, подталкивает к смерти, используя магию иную, черную, магию абстракции еще более сильной, более анонимной и более произвольной – магию террористического акта.

Террористический акт единственный не является актом репрезентации. Этим он сближается с массой, выступающей единственной реальностью, которая не может иметь представления. Отсюда следует, что терроризм вовсе не представляет невысказанное массами и никоим образом не служит активным выражением их пассивного сопротивления. Между терроризмом и поведением массы существует отношение не представляющего и представляемого, а эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, оба не принадлежат никакой репрезентативности, оба не имеют никакого смысла. Их объединяет самое радикальное, самое решительное отрицание любой репрезентативной системы. И это на сегодняшний день, в сущности, все, что мы в состоянии сказать о связях, которые могут устанавливаться между двумя элементами, находящимися вне области репрезентации. Разобраться в данном вопросе нам не позволяет базовая схема нашего познания – ею всегда полагается среда субъекта и языка, среда представления. И потому нам открыты лишь сцепления репрезентации; что же касается соединений, основанных на аналогии или родстве, соединений непосредственных или нереференциальных, что касается всех других структур, то мы их практически не знаем. Безусловно, массы и терроризм связывает что-то весьма важное, то, что было бы бесполезно искать у исторически предшествующих им репрезентативных систем (народ/национальное собрание, пролетариат/партия, меньшинства маргиналов/представляющие их группы и группки…). И так же, как между полюсами какой-нибудь репрезентативной системы циркулирует энергия социальная, энергия позитивная,

точно так же, по-видимому, циркулирует энергия и между массой и терроризмом, между этими не-полюсами системы не-репрезентации, но это энергия противоположного характера, энергия не социальной аккумуляции и трансформации, а социальной дисперсии, рассеивания социального, энергия поглощения и уничтожения политики.

Утверждать, что «эпоха молчаливого большинства» «порождает» терроризм, – значит допускать ошибку. На самом же деле масса и терроризм, хотя и непонятным для нас образом, но именно сосуществуют. И такого рода их синхронное функционирование, каким бы ни было к нему отношение, – единственное, что по-настоящему знаменует собой конец политического и социального. Единственное, что характеризует этот период неудержимой имплозии всех систем репрезентации.

Задача терроризма заключается вовсе не в том, чтобы продемонстрировать репрессивный характер государства (на это ориентирована провокационная негативность групп и группок, которые цепляются за нее как за последнюю возможность выступить перед массами в качестве их представителей). Будучи нерепрезентативным, он делает очевидной – запуская механизм цепной реакции ее распространения, а не указывая на нее и не пытаясь подтолкнуть к ее осознанию – нерепрезентативность любой власти. Именно такова его подрывная работа: он утверждает нерепрезентацию, внедряя ее крайне малыми, но весьма концентрированными дозами.

Характерная для него жестокость объясняется тем, что он отрицает все репрезентативные институции (профсоюзы, организованные движения, сознательную «политическую» борьбу и т. п.), включая и те, от которых исходят заверения в солидарности с его усилиями, ибо солидарность – это всего лишь один из способов конституировать его как модель, как эмблему и, следовательно, заставить быть представителем. (О погибших участниках акции в таких случаях говорят: «Они умерли за нас, их смерть не напрасна…».) Для того чтобы преодолеть какие бы то ни было смыслы, для того чтобы создать ситуацию, когда невозможно осознать, насколько он социально нелегитимен, в какой мере он не ведет ни к каким политическим результатам и не вписан ни в какую историю, терроризм использует любые средства. Его единственное «отражение» – вовсе не цепь вызванных им исторических следствий, а рассказ, шокирующее сообщение о нем в средствах информации. Однако этот рассказ принадлежит порядку объективности и информативности не больше, чем терроризм – порядку политического. И тот, и другой находятся за пределами и смысла, и репрезентации – в сфере, которая является если не областью мифа, то, во всяком случае, областью симулякра.

Другой аспект террористического насилия – отрицание всякой детерминации и всякого качества. В этом плане терроризм надо отличать от бандитизма и акций «коммандос». Отряд «коммандос» осуществляет военные операции против определенного противника (они могут выражаться в подрыве железнодорожного состава, внезапном нападении на вражеский штаб и т. д.). Бандитизм (налет на банк, лишение свободы в расчете на получение выкупа и т. п.) является разновидностью традиционного уголовного насилия. Все эти действия имеют цель экономическую или военную. Современный терроризм, начало которому положили захваты заложников и игра с откладыванием-отсрочиванием смерти, уже не имеет ни цели (если все же допустить, что он ориентирован какими-то целями, то они либо совсем незначительны, либо недостижимы – во всяком случае, он является самым неэффективным средством их достижения), ни конкретного врага. Можно ли сказать, что захватом заложников палестинцы борются с государством Израиль? Нет, их действительный противник находится за его спиной. Пожалуй, он не принадлежит даже и области мифа, ибо выступает как нечто анонимное, недифференцированное, как некий мировой социальный порядок. Палестинцы обнаруживают этого врага где угодно, когда угодно, для них его олицетворением могут выступать любые, даже самые невинные, люди. Именно так заявляет о себе терроризм; и он остается самим собой, сохраняет себя только потому, что действует везде, всегда и против всех – иначе он был бы лишь вымогательством или акцией «коммандос». Характер функционирования этой слепой силы находится в полном

соответствии с абсолютной недифференцированностью системы, в которой уже давно не существует различия между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими действиями, выражающими его убийственное безразличие к тому, кто окажется у него в заложниках, терроризм направлен как раз против самого главного продукта всей системы – анонимного и совершенно безликого индивида, индивида, ничем не отличающегося от себе подобных. Невиновные расплачиваются за преступление, состоящее в том, что они теперь никто, что у них нет собственной судьбы, что они лишены своего имени, лишены системой, которая сама анонимна и которую они, таким образом, символизируют, – вот парадокс нынешней ситуации. Они являются конечным продуктом социального, абстрактной и ставшей сегодня всемирной социальности. И именно потому, что они теперь – это «кто угодно», им и суждено быть жертвами терроризма.

Как раз в этом смысле, или, лучше сказать, в этом своем вызове смыслу, террористический акт сближается с катастрофами, происходящими в природе. Никакой разницы между подземным толчком в Гватемале и угоном «Боинга» Люфтганзы с тремястами пассажирами на борту, между «естественным» действием природы и «человеческим» действием терроризма не существует. Террористами являются и природа, и внезапный отказ любой технологической системы: крупные сбои в системах подачи электроэнергии в Нью-Йорке (в 1965 и 1977 годах) создали ситуации значительно более серьезные, чем те, к которым приводили все до сих пор осуществлявшиеся спланированные террористические акты. Более того, эти крупные аварии технологического плана, как и катаклизмы природного характера, демонстрируют возможность радикальной подрывной работы без субъекта. Сбой 1977 года в Нью-Йорке мог бы быть устроен и хорошо организованной группой террористов, но результат оказался бы тем же самым. Последовали бы те же акты насилия и грабежи, точно так же стало бы нарастать возмущение происходящим и точно таким же мучительным было бы ожидание того, когда же наконец установится «социальный» порядок. Отсюда следует, что терроризм порожден не стремлением к насилию, а характерен для нормального состояния социального – в той мере, в какой это нормальное состояние в любой момент может превратиться в нечто прямо противоположное, абсурдное, неконтролируемое. Природная катастрофа способствует такому повороту событий и именно поэтому парадоксальным образом становится мифическим выражением катастрофы социального. Или, точнее, природная катастрофа, будучи в высшей степени бессмысленным и нерепрезентативным событием (разве что за ним стоит Бог; не случайно в ситуации с последней аварией в электросетях Нью-Йорка ответственный работник «Continental Edison» заговорил о Боге и его вмешательстве), становится своего рода симптомом или наиболее ярким олицетворением особого состояния социального, а именно его катастрофы и крушения всех репрезентаций, на которые социальное опиралось.

## Системы имплозивные и взрывные

Треугольник «массы – средства массовой информации – терроризм» указывает на пространство, в котором развертывается характерный для современности процесс имплозии. Этот процесс пронизан нарастающим насилием – насилием рассеянным и концентрированным, насилием вовлечения и гипноза, насилием пустоты (гипнотическое воздействие есть предельная агрессивность нейтрального). В своем нынешнем состоянии мы имеем дело только с такой – неистовой и катастрофической – имплозией. Сегодня она не может быть иной, потому что выступает завершающим периодом крушения – последним этапом гибели системы взрыва и контролируемого расширения, господствовавшей на Западе на протяжении нескольких веков.

Тем не менее имплозия отнюдь не обязательно развертывается как катастрофа. Она существует и в контролируемой и направляемой форме. В этом своем качестве она обнаруживает себя прежде всего в примитивных и традиционных обществах и, более того,

оказывается их скрытой главной особенностью. Такого рода обществам не свойственна экспансия – в них царствует не центробежная, а центростремительная сила. Такого рода сингулярные множества никогда не нацелены на универсальное – они сконцентрированы на цикле, на ритуале, они стремятся замкнуться в этом нерепрезентативном процессе, где нет ни высшей инстанции, ни дизъюнктивной полярности, но где отсутствует также и опасность их саморазрушения (сказанное, возможно, не относится к столь необычной имплозии, как коллапс культур тольтеков, ольмеков и майя – культур, о которых мы вряд ли что-либо еще узнаем и об огромных империях которых мы можем сказать лишь то, что они исчезли без каких-либо более или менее заметных следов катастрофы, без видимой внешней или внутренней причины, как будто внезапно утратив все стимулы к существованию). Примитивные общества живут, следовательно, благодаря контролируемой имплозии; но, если они ей уже не управляют, их ждет смерть. Это значит, что теперь они оказались во власти взрыва (то есть стали рабами неконтролируемого увеличения населения или столь же неуправляемого роста объема произведенной продукции, пленниками безудержного расширения в пространстве или же просто-напросто объектами колонизации, насильно приобщающей их к принципам развития и ориентации вовне, в соответствии с которыми существуют западные системы).

Наши «современные» цивилизации, напротив, на всех уровнях строятся на основе экспансии взрывных процессов – под знаком универсализации рынка, экономических и философских ценностей, под флагом универсальности закона и такой же универсальности стратегии завоевания. Они, без всякого сомнения, оказались способными, по крайней мере до сегодняшнего дня, существовать за счет контролируемого взрыва, регулируемого поэтапного высвобождения энергии, и этим определяется золотой век их культуры. Однако сегодня их взрывное развитие осуществляется такими немыслимыми темпами, что контроль за ним становится невозможным. Этот взрывной процесс достиг предельной скорости и предельного размаха и начал выходить за рамки сферы универсального – ему уже тесно в той области, которая является областью экспансии. И так же, как примитивные общества были разрушены динамикой взрыва, так и не сумев на определенном этапе удержать под контролем процесс имплозии, – точно так же и наша культура начинает разрушаться имплозией, поскольку не имеет средств справиться с взрывной динамикой.

Имплозия неизбежна, и все усилия по спасению систем экспансии, существующих в соответствии с принципами реальности, аккумуляции и универсальности, в соответствии с принципами эволюции, не могут не быть напрасными. Они продиктованы исключительно ностальгией по тому, что уходит. Но к их числу надо отнести и усилия тех, кто настаивает на необходимости высвобождения разного рода особых энергий: либидинальных, множественных, энергии фрагментарных интенсивностей и т. д. Дело в том, что «высвобождение энергий» («пролиферация сегментов» и т. п.), которое имеет место в ходе так называемой «революции на молекулярном уровне», происходит все еще в границах хотя и сжимающегося, но по-прежнему заявляющего о себе поля экспансии, лежащего в основании нашей культуры. Ничтожная по силе активность, исходящая от желания, – всего лишь продолжение мощных попыток утверждения реальности, предпринятых капиталом, распад на молекулярные образования – всего лишь логическое завершение тотального усилия по поддержанию различных пространств социального. Мы являемся свидетелями угасания системы взрыва с ее отчаянным стремлением овладеть энергией, дошедшей до своего предела, или, что то же самое, раздвинуть пределы этой энергии (определяющий ориентир нашей культуры), с тем чтобы спасти экспансию и движение к освобождению.

Но имплозию не остановит ничто. Победа имплозивного над взрывным предрешена, и вопрос лишь в том, за каким – жестким и катастрофическим или мягким и замедленным – имплозивным процессом будущее. Последний пытается подчинить себе новые антиуниверсалистские, антирепрезентистские, трайбалистские и т. п. центробежные силы, действие которых обнаруживается в возникновении разного рода общин, в обращении к наркотикам, в выступлениях против загрязнения среды и дальнейшего роста

промышленного производства. Но мягкую имплозию надо оценивать трезво. Скорее всего, она недолговечна и закончится безрезультатно. Превращение систем имплозивных в системы взрывные нигде не было безболезненным – оно всегда сопровождалось большими потрясениями; жестким и катастрофическим будет, по всей видимости, и наш переход к имплозии.

## Конец социального

Динамика социального не является ясной и определенной. Чем характеризуются современные общества – его нарастанием или распадом? Иначе говоря, им свойственны социализация или последовательная десоциализация? Ответ зависит от того, как понимается социальность, но он в любом случае не может быть окончательным и однозначным. Скорее всего, социальное обладает такими характеристиками, которые выступают вехами «социального прогресса» (урбанизация, концентрация, производство, труд, медицина, обучение в школе, социальное обеспечение, страхование и т. д.), включая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым эффективным проводником социализации, оно в одно и то же время и создается, и разрушается.



***Иоанн перед Богом и двадцатью четырьмя старцами. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Поскольку социальное, по-видимому, сложено из абстрактных инстанций, возникающих одна за другой на развалинах предшествующих символических и ритуальных обществ, эти институции его – шаг за шагом – производят. Но они работают именно на нее – ненасытную абстракцию, питающуюся, возможно, «самой сутью» социального. И в этом плане по мере развития своих институций социальное не укрепляется, а регрессирует.

Данный противоречивый процесс ускоряется и достигает своего максимального размаха с появлением средств массовой информации и самой информации. Средства

информации, все средства, и информация, вся информация, действуют на двух уровнях: внешний – уровень наращивания производства социального, глубинный – тот, где и социальные отношения, и социальное как таковое нейтрализуются.

Но тогда, если социальное, во-первых, разрушается – тем, что его производит (средствами информации и информацией), а во-вторых, поглощается – тем, что оно производит (массами), оказывается, что его дефиниция не имеет референта, и термин «социальное», который является центральным для всех дискурсов, уже ничего не описывает и ничего не обозначает. В нем не только нет необходимости, он не только бесполезен, но всякий раз, когда к нему прибегают, он не дает возможности увидеть нечто иное, не социальное – вызов, смерть, совращение, ритуал или повторение, – он скрывает то, что за ним стоит всего лишь абстракция, результат процесса абстрагирования, или даже просто эффект социального, симуляция и видимость.

Неопределенность заложена уже в термине «социальное отношение». Что такое «социальное отношение», «социальная связь»? Что такое «производство социальных связей»? Понятным содержание этих выражений оказывается лишь на первый взгляд. Является ли социальное изначально и по своей сути «отношением» (или «связью»), что неизбежно предполагает высотою степень его абстрактности и рациональности, или же оно есть нечто иное – то, что извне рационализируется термином «отношение»? А может быть, «социальное отношение» отнесено к чему-то другому, а именно к тому, что оно разрушает? Может быть, оно отмечает конец социального или кладет начало его концу?

Так называемые «социальные науки» были призваны закрепить впечатление, что социальность вечна. Но сегодня от него надо освободиться. Существовали общества, которые обходились без социального, как они обходились и без истории. Ни термин «отношение», ни термин «социальное» к характерным для этих образований символическим структурам взаимных обязательств неприложимы. С другой стороны, социального, по всей видимости, не будет и в наших «обществах» – они хоронят его тем, что оно в них симулируется. И поскольку видов смерти у него столько же, сколько определений, умирать ему суждено по-разному. Социальное, судя по всему, в состоянии существовать лишь очень короткое время: в узком промежутке между эпохой символических формаций и возникновением нашего «общества», где оно уже не живет, а только угасает. Раньше – его нет еще, позже – его нет уже. Но «социология», кажется, будет доказывать его вечность и после его смерти – в пустых разговорах представите лей «социальных наук» ему уготована жизнь и после того, как оно исчезнет.

На протяжении двух столетий неиссякаемыми источниками энергии социального были детерриториализация и концентрация, обнаруживающие себя во все большей унификации инстанций. Эта унификация происходит в централизованном пространстве перспективы, которое придает смысл всем оказавшимся в нем элементам благодаря тому, что просто ориентирует их на схождение в бесконечности (в качестве пространства и времени социальное действительно делает перспективу бесконечной). Социальность оформляется только в этой всеохватывающей перспективе.

Но не будем забывать: такого рода перспективное пространство (как в живописи и архитектуре, так и в политике или экономике) является лишь одной из моделей симуляции, для которой характерно то, что она дает место эффектам истины и объективности, невозможным, немыслимым в других моделях. А что, если она представляет из себя просто ловушку? В таком случае все, что было задумано и осуществлено в этом социальном «сценическом действии по-итальянски», никогда не имело существенного значения. В своей основе вещи никогда не функционировали социально – они приходили лишь в символическое, магическое, иррациональное и т. п. движения. Отсюда и следует, что капитал есть вызов обществу. Иначе говоря, эта машина всеохватывающей перспективы, эта машина истины, рациональности и продуктивности, какой является капитал, чужда и объективной целесообразности, и разуму: она есть прежде всего насилие, насилие, состоящее в том, что социальное направляется против социального. Но по своей сути данная

машина не является социальной – ей нет дела до капитала и социального в их антагонистическом единстве. Она не подразумевает контракт, она никогда не предполагает договор, заключенный между различными инстанциями по закону (все это для нее пустое) – она ориентирована на ставку, на вызов, то есть на что-то, что не проходит по линии «социальной связи». (Вызов находится вне диалектики и вне взаимного противостояния полюсов в рамках какой-либо целостной структуры. Он есть процесс уничтожения всех противостоящих элементов, всех противодействующих субъектов, и в первую очередь тех, кто бросает вызов: тем самым он уходит от любого контракта, который мог бы дать место «отношению». Логика обмена ценностями теперь не действует. В силу вступает логика отказа от ценности и смысла. Герой вызова неизменно занимает позицию самоубийцы, но его самоубийство триумфально: именно разрушая ценность (свою ценность), именно уничтожая смысл (свой смысл), он вынуждает другого реагировать всякий раз неадекватно, всякий раз чрезмерно. Вызов всегда исходит оттого, что не имеет ни смысла, ни имени, ни идентичности, и он всегда брошен тому, что за них держится, – это вызов смыслу, власти, истине, самой их способности существовать, самому их стремлению к существованию. Только такого рода обращение силы назад и способно положить конец власти, смыслу и ценности; надеяться на какое-то соотношение сил, каким бы благоприятным оно ни было, бесполезно: оно предполагает полярную, бинарную структурную связь, которая по самой своей природе всегда формирует пространство смысла и власти).

Относительно социального возможны несколько гипотез.

1. Социальное, по сути дела, никогда не существовало. Социального «отношения» никогда не было. Ничто никогда не функционировало социально. В условиях неизбежного вызова, неотвратимого совращения и неминуемой смерти всегда имела место лишь симуляция социального и социального отношения. В этом случае нет никаких оснований говорить ни о «реальной», ни о скрытой, ни об идеальной социальности. Оправдано лишь гипостазирование симулякра. Если социальное есть симуляция, то единственное вероятное резкое изменение ситуации – это стремительная десимуляция, при которой социальное само для себя перестает быть пространством референции, выходит из игры и кладет конец сразу и власти, и эффекту социального, и зеркалу социального, социальное поддерживающему. Десимуляция сама приобретает характер вызова (обратного вызову капитала социальному и обществу): вызова способности капитала и власти существовать в соответствии с их собственной логикой – у них ее нет, в качестве механизмов они исчезают сразу же, как только разрушается симуляция социального пространства. И сегодня это резкое изменение ситуации происходит. Разложение социального мышления, истощение и вырождение социальности, угасание социального симулякра (настоящий вызов конструктивности и продуктивности имеющей для нас решающее значение социальной теории) – всему этому мы являемся свидетелями. Социальное исчезает бесследно, как будто его и не было. И не в процессе эволюции или революции, а в результате катастрофы. Это уже не «кризис» социального – это распад самого его устройства. Маргиналы (умалишенные, женщины, наркоманы, преступники), которые якобы разрушают социальное, здесь ни при чем – их активность, наоборот, служит для слабеющей социальности источником дополнительной энергии. Но ресоциализация невозможна. И социальное, существующее в соответствии с принципами реальности и рациональности, улетучивается, подобно тому как, едва заслышав первый крик петуха, улетучивается призрак.

2. Социальность все же существовала и существует, более того, она постоянно нарастает. Она пронизывает все – есть только социальность. Социальное вовсе не исчезает, а, напротив, торжествует и заявляет о себе повсюду. Можно, однако, предположить – вопреки мнению, будто динамика социального развертывается в закономерный прогресс человечества, а все ее избежавшее представляет собой лишь остаток, – что как раз само социальное и является остатком и что оно торжествует именно в этом качестве. Заполнивший собой все, ставший универсальным и получивший статус реальности остаток рассеивания символического порядка – это и есть социальное. Перед нами уже более

изысканная форма смерти. В данном случае сегодняшняя ситуация такова, что мы все дальше погружаемся в социальное, то есть в сферу чистых отложений, в пространство, заполненное мертвым трудом, мертвыми, контролируемыми бюрократией связями, мертвыми языками и синтагмами (что-то мертвое, что-то от смерти есть уже в самих терминах «отношение» и «связь»).

Безусловно, теперь нельзя говорить, что социальное умирает – отныне оно есть аккумуляция смерти. Мы действительно принадлежим цивилизации сверхсоциальности и в то же время неисчезающего и неуничтожимого остатка, захватывающего все новые территории, по мере того как социальное расширяется.

Образование остатка и его новое использование – таковы, по-видимому, основные моменты социального как производства. Его циклы уже давно не имеют никаких «социальных» ориентиров, так что оно представляет собой абсолютно самостоятельную, вращающуюся исключительно вокруг собственной оси спиралевидную туманность, расширяющуюся с каждым витком, который она описывает. Таким образом, усиление социального в ходе истории – это, очевидно, усиление «рационального» управления остатками и вскоре рост рационального производства остатков.

В 1544 году в Париже открывается первый крупный приют для бедных, который берет на себя ответственность за бродяг, сумасшедших, других больных – всех тех, кто не был интегрирован в ту или иную группу и оказался вне ее в качестве остатка. Это свидетельство рождения социального. Позднее появятся знаки его расширения: органы государственного призрения в девятнадцатом и система социального обеспечения в двадцатом веках. По мере быстрого упрочения социального остатком становятся целые общности, а стало быть, – на следующем витке спирали – и упрочившееся социальное. Когда остаток достигает масштабов общества в целом, мы получаем полную социализацию. Полностью исключены и полностью взяты на иждивение, полностью разобщены и полностью социализированы абсолютно все.

В итоге символическая интеграция заменяется функциональной, и функциональные институции берут на себя ответственность за остатки символической дезинтеграции – социальная инстанция обнаруживается там, где для нее не было ни места, ни даже имени. По мере усиления такой дезинтеграции множатся, распространяются и развиваются «социальные отношения». Появляются социальные науки. Отсюда и любопытное выражение «ответственность общества перед своими обездоленными членами» – тот, кто к нему прибегает, исходит из представления, что «социальное» есть не что иное, как инстанция, выступающая следствием этой обездоленности.

Отсюда также и направленность рубрики «Общество» в «Монд»: материалы, помещаемые в ней, как это ни удивительно, посвящены только иммигрантам, преступникам, женщинам и т. д. – всему несоциализированному, «случаю» социального, сходному со случаем патологии. Речь идет о зонах, которые должны быть втянуты в социальность, о сегментах, которые были выведены за ее пределы в ходе ее развертывания. Обозначаемые социальным как остаточные, они подпадают тем самым под его юрисдикцию и рано или поздно обретут свое место в расширенной социальности. Именно к остатку приковано внимание социальной машины, и именно поглощение этого остатка дает социальности энергию для нового расширения. Но что происходит, когда социализировано все? Тогда машина останавливается, динамика всего процесса меняется на противоположную, и в остаток превращается вся ставшая целостной социальная система. По мере того как социальное в своем прогрессировании поглощает все остатки, оно само оказывается остаточным. А помещая в раздел «Общество» материалы об остаточности, оно к тому же и именует себя остатком.

Однако чем становятся рациональность социального, контракт и социальное отношение, если последнее, вместо того чтобы выступать исходной структурой, заявляет о себе как об остатке и управлении остатками? Если социальное есть всего лишь остаток, оно уже не является местом процесса развития или позитивной истории, оно оказывается теперь

только пространством нагромождений и расчетливого руководства, осуществляемого смертью. Оно больше не имеет смысла, поскольку смысл дан другому, а у социального не может быть шансов стать другим: оно представляет собой отбросы. У него нет никакой светлой перспективы, ибо остаток – это превзойденное небытие, это то, что из праха уже не восстанет. И потому политика социального – это политика мертвеца. Социальному свойственно либо заточать, либо вытеснять. Сначала, выступая под знаком продуктивного разума, оно оказалось местом великого Заключения, теперь, когда его знаком стали симуляция и разубеждение, оно превратилось в пространство не менее великого Исключения. Впрочем, это, возможно, уже и не «социальное» пространство.

Именно в этом плане руководства остатками социальное и может в настоящее время обнаруживаться как таковое: в формах права, потребности, обслуживания, простой потребительной стоимости. И сегодня оно характеризуется уже не столько структурами конфликта и политики, сколько структурой приема. Над экономической сферой социального как потребительной стоимости надстраивается его экологическая сфера как ниши. Оно начинает играть роль одной из форм эквивалентного обмена индивида со средой, выступать в качестве экосистемы, гомеостаза, функциональной супербиологии человеческого рода. Это даже больше, чем структура, – это безликая питательная белковая субстанция. Оно образует некую зону безопасности, где можно укрыться от всех трудностей и обрести беззаботное существование (своего рода страхование с ответственностью за все риски взамен прежней жизни). Форма деградирующей социальности (снимающей напряженность, предохраняющей, успокаивающей и снисходительной), форма предельно низкого уровня социальной энергетики (энергетики экологического функционирования), форма энтропии – именно в таком виде предстает перед нами социальное. Это уже другой облик смерти.

## Экскурс: функциональная калькуляция остатка

Социальное занято тем, что устраняет всякий прирост богатства. Если бы дополнительное богатство было пущено в процесс перераспределения, это неизбежно разрушило бы социальный порядок и создало недопустимую ситуацию утопии.

То перемещение богатства, любого богатства, которое осуществлялось когда-то посредством жертвоприношения и которое не оставляет место аккумуляции остатка, для наших обществ также неприемлемо. Уже потому, что они «общества», а следовательно, всегда производят излишек, остаток (каким бы он ни был – демографическим, экономическим или лингвистическим), и потому, что этот остаток должен быть ликвидирован (ни в коем случае не принесен в жертву – это опасно: просто-напросто ликвидирован).

У социального две обязанности: производить остаток и тут же его уничтожать.

Если бы все богатство приносилось в жертву, люди утратили бы чувство реальности. Если бы все богатство оказывалось в их распоряжении, они перестали бы отличать полезное от бесполезного. Социальное призвано следить за бесполезным потреблением остатка, с тем чтобы индивиды были готовы к полезной для них организации их жизни.

Использование и потребительная стоимость конституируют некую фундаментальную мораль. Но она существует только в симуляции нищеты и расчета. Если бы все богатство было перераспределено, оно уничтожило бы собой потребительную стоимость (то же самое со смертью: если бы смерть была перераспределена, если бы она была обращаема, уничтожению подверглась бы потребительная стоимость жизни). Сразу же и со всей очевидностью стало бы ясно, что потребительная стоимость есть всего лишь основанная на меркантильной приземленности, предполагающая постоянный прагматический расчет моральная конвенция. Но она держит нас в своей власти, и потому вынести эту катастрофу перемещения богатств и перемещения смерти мы, чье сознание навсегда отравлено фантазмом потребительной стоимости, были бы не в состоянии. Нельзя, чтобы все

обращалось. Необходим остаток. И социальное следит за тем, чтобы он был.

До сих пор автомобиль, дом и другие «полезные вещи» так или иначе, но все же с успехом поглощали материальные и духовные запасы индивидов. Однако предположим, что теперь между индивидами распределили все находящееся в распоряжении общества свободное богатство. Если бы это случилось, они бы в нем просто-напросто утонули. Они потеряли бы ориентацию и чувство умеренности и бережливости, утратили потребность просчитывать свои действия. Они столкнулись бы или с разбалансированными отношениями стоимости (внезапный приток валюты стремительно и до основания разрушил бы денежную систему), или же с патологическим развитием потребительной стоимости (каждый имел бы 3, 4 и т. д. автомобилей), которая в этом обществе изобилия, однако, неизбежно растворилась бы в гиперреальном функционализме.

Таково свойство любого излишка: перемещаемый без всяких ограничений, он разрушает систему эквивалентности, а заодно и систему нашей духовной ориентации на эквивалентность.

Противостоять этому может только мудрость социального – стоящей на страже эквивалентного матрицы расширения и обращения богатств, среды их контролируемого расточения.

Общество, неспособное к тотальному перемещению богатства и ориентированное на потребительную стоимость, всегда опирается на своего рода ум и дальновидность института социальности и его абсурдную «объективную» расточительность. Действия, направленные на поддержание престижа страны, строительство «Конкордов», полеты на Луну, запуски баллистических ракет и спутников, даже организация общественных работ и социального обеспечения, безусловно, свидетельствуют о бессмысленных тратах. Но ум социального – это и есть глупость в пределах потребительной стоимости. Наивно не социальное – наивны разного рода социалисты и гуманисты, мечтающие о перераспределении всего богатства, исключении любых бесполезных расходов и т. п. Социалисты, борцы за потребительную стоимость, борцы за потребительную стоимость социального, демонстрируют, что социальность ими абсолютно не понята – они полагают, будто социальное может стать оптимальным коллективным управлением потребительной стоимостью людей и вещей.

Но оно никогда им не будет. Оно, вопреки надеждам социалистов, бессмысленно, неуправляемо, оно есть безответственно расходующий, разрушающий, огромный по своим размерам протуберанец оптимального управления. Однако именно поэтому оно и является функциональным, именно поэтому (что так и не усвоили идеалисты) оно в точности соответствует своему предназначению, которое состоит в том, чтобы, осуществив объективно неизбежный обходной маневр, то есть используя расточительство, а «contrario» укрепить потребительную стоимость и сохранить основание реальности. Социальное создает ту нехватку богатства, которая необходима для различения добра и зла, в которой нуждается любая мораль, – нехватку, абсолютно неизвестную «первым обществам изобилия», описанным Маршаллом Салинзом. Это то, чего не видят социалисты: желая уничтожить недостаток благ и требуя всеобщего права пользования богатством, они тем самым устраняют социальность, хотя им кажется, что они настаивают на ее развитии.

Вопрос о смерти социального в этом плане решается просто: социальное умирает в результате распространения потребительной стоимости, которое равнозначно ее ликвидации. Когда все, включая социальное, становится потребительной стоимостью, мир оказывается инертным, и в нем происходит нечто прямо противоположное тому, о чем мечтал Маркс. Он мечтал о поглощении экономического улучшенным социальным. Мы же имеем дело с поглощением социального ухудшенной политической экономией – просто-напросто управлением.

Общество спасается именно дурным использованием богатств: со времен Мандевиля и его «Басни о пчелах» все осталось по-прежнему. И социализм тут не может ничего изменить. Политическая экономия была призвана устранить эту двойственность, эту далее

нетерпимую для нее противоречивость социальной динамики. Но сложная функциональность социального, своего рода функциональность во второй степени, оказалась ей не по силам. И тем не менее эта экономия сегодня, кажется, торжествует: после того как политическое исчезло, растворилось в социальном, само социальное начинает поглощаться экономическим – экономией даже еще более политической, чем ей полагалось быть, лишенной «ubris», излишества и излишка, которыми характеризовалась капиталистическая фаза.

## Конец социального (продолжение)

3. Социальное, безусловно, существовало, но сейчас его больше нет. Оно существовало как связное пространство, как основание реальности. Социальное отношение, производство социальных отношений, социальное как динамическая абстракция, место конфликтов и противоречий истории, социальное как структура и как ставка, как стратегия и как идеал – все это имело смысл, все это что-то значило. Социальное никогда не было ни ловушкой, как в случае с первой гипотезой, ни остатком – как в случае со второй. Но вместе с тем в качестве власти, в качестве труда, в качестве капитала оно имело смысл только в пространстве перспективы рационального размещения, в пространстве, ориентированном на некую идеальную точку схождения всех линий, которое является также и пространством производства. Оно, короче говоря, имело смысл исключительно в пределах симулякров второго порядка. Сегодня оно поглощается симулякрами третьего порядка и потому умирает.

Перспективному пространству социального приходит конец. Рациональная социальность договора, социальность диалектическая (распространяющаяся на государство и гражданское общество, публичное и частное, социальное и индивидуальное) уступает место социальности контакта, множества временных связей, в которые вступают миллионы молекулярных образований и частиц, удерживаемых вместе зоной неустойчивой гравитации и намагничиваемых и электризуемых пронизывающим их непрекращающимся движением. Но можно ли в данном случае по-прежнему говорить о социуме? В Лос-Анджелесе никакой социальности уже нет. И ее тем более не будут знать следующие поколения (в Лос-Анджелесе пока что живет поколение телевидения, кино, телефона и автомобиля) – поколения рассеивания, распределения индивидов как пунктов получения и передачи информации в пространстве даже еще более размеренном, чем конвергентное: пространстве связи, соединения. Социальное существует только в пространстве перспективы – в пространстве симуляции, которое является также и пространством разубеждения, оно умирает.

Пространство симуляции – это место смешения реального и модели. Реальное и рациональное для того, кто находится внутри данной сферы, неразличимы ни практически, ни теоретически. Строго говоря, тут нет даже и вхождения моделей в реальность (это была бы ситуация замены территории картой, представленная Борхесом) – есть мгновенное, осуществляющееся здесь и теперь преображение реального в модель. Происходит невероятное: реальное оказывается гиперреализованным – не реализованным, не идеализированным, а именно гиперреализованным. Гиперреализация означает его упразднение, но это упразднение не является грубой деструкцией. Оно выступает возведением реального в ранг модели. Модель упреждает, разубеждает, предусмотрительно преображает – и тем самым всегда поглощает реальность.

Догадаться об этой тонкой, быстрой и незаметной работе модели можно лишь тогда, когда реальное начинает заявлять о себе как о чем-то более истинном, чем истина, как о чем-то слишком реальном, чтобы быть истинным. Сегодня на производство такого рода реальности, такого рода сверхреальности ориентированы все mass media и информация (вспомним многообразные интервью, прямой эфир, кино, документальное телевидение и т. п.). Они производят ее настолько много, что мы оказываемся окруженными непристойностью и порнографией. Наезд камеры на объект, по сути дела порносъемка,

делает для нас реальным то, что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл только на некотором расстоянии. Гиперреальность – это разубеждение в возможности хоть какой-то реальности. Разубеждение, которое подавляет реальность тем, что заставляет ее постоянно разрастаться, становиться гиперочевидной и, однако, навязывать себя снова и снова. Оно делает ее предельно насыщенной и толкает к непристойности, оно упраздняет всякое различие между ней и ее репрезентацией, оно, наконец, доводит ситуацию до имплозии полюсов, между которыми циркулирует энергия реального. Реального как системы координат больше нет, оно живет жизнью модели.



***Четыре всадника Апокалипсиса. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник***

*Альбрехт Дюрер*

Но тем самым гиперреальность устраняет и социальное. Социальное, если оно имеет место как симулякр второго порядка, в симулякрах третьего порядка производиться уже не может: подвергнутое усиленной, предельной, делающей его непристойным инсценировке, оно сразу же оказывается в невыносимом для себя положении. Признаки этой гиперреализации социального, свидетельства его чрезмерной интенсификации и предвестники завершения присутствуют повсюду: и тут и там подчеркивают, обозначают и используют прозрачность социального отношения. История социального никогда не приведет к революции – она навсегда остановлена знаками социального и революции. Социальное никогда не подойдет к социализму – оно наткнулось на непреодолимую для себя преграду в лице гиперсоциального, гиперреальности социального (но, может быть, это и есть социализм?). Понятие пролетариата заменяется каким-то пародийным экстенсивным дубликатом, «массой трудящихся» или просто ретроспективной симуляцией пролетариата, и пролетариату уже не суждено начать процесс «отрицания себя как такового». Политическая экономия уходит в гиперреальность экономики (характеризующуюся безмерным наращиванием производства, преобладанием производства спроса над производством товаров и бесконечной чередой кризисов) и потому уже не достигнет стадии своего диалектического преодоления, не обернется возникновением системы удовлетворения всех потребностей и оптимальной организации дела (а мы так и не сможем оценить ее достоинства и недостатки).

Отныне ничто не добирается до конца своей истории, ибо ничто не в состоянии избежать этого захвата симулякрами. И социальное умирает, так и не раскрыв нам полностью своей тайны.

Пусть, однако, ностальгии по социальности предаются приверженцы удивительной по своей наивности социальной и социалистической мысли. Это они умудрились объявить универсальной и возвести в ранг идеала прозрачности столь неясную и противоречивую, более того, остаточную и воображаемую и, более того, упраздняемую своей собственной симуляцией «реальность», какой является социальное.

## Часть 2. Прозрачность зла
## *(Отрывки из книги. Перевод Л. Любарской, Е. Марковского)*

*Коль скоро мир движется к бредовому положению вещей, и мы должны смещаться к бредовой точке зрения.*

*Лучше погибнуть от крайностей, чем от отчаянья.*

### После оргии

Если бы мне надо было дать название современному положению вещей, я сказал бы, что это – состояние после оргии. Оргия – это каждый взрывной момент в современном мире, это момент освобождения в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных желаний, освобождения искусства. И вознесения всех мистерий и антимистерий. Это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, критического и антикритического, оргия всего, что связано с ростом и болезнями роста. Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеологий, наслаждений. Сегодня игра окончена – все освобождено. И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после оргии?

Нам остается лишь изображать оргию и освобождение, притворяться, что, ускорив шаг, мы идем в том же направлении. На самом же деле мы спешим в пустоту, потому что все конечные цели освобождения остались позади, нас неотступно преследует и мучает предвосхищение всех результатов, априорное знание всех знаков, форм и желаний.

Но что же нам все-таки делать? Мы находимся в состоянии лицедейства и не способны ни на что, кроме как заново разыграть спектакль по некогда написанному в действительности или в воображении сценарию. Это состояние, когда все утопии обрели реальные очертания, и парадокс состоит в том, что мы должны продолжать жить так, как будто этого не было. Но так как утопии все же стали реальностью, мы не можем больше тешить себя надеждой, что нам еще предстоит дать им жизнь. Все, что нам остается, – тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо той, которая уже существует. Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантазмов, образов, мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами и которые нам, в нашей роковой безучастности, необходимо возрождать снова и снова.

В сущности, всюду имела место революция, но она проходила не так, как мы себе это представляем. Все, что высвобождалось, получало свободу, для того чтобы, выйдя на орбиту, начать вращение. Слегка уклонившись, можно сказать, что неотвратимой конечной целью каждого освобождения является поддержание и питание сетей. Все, что освобождается, неизбежно подвергается бесконечным замещениям и тем самым возрастающей неопределенности и непостоянству.

Ничто (даже Бог) не исчезает более, достигнув своего конца или смерти; исчезновение происходит из-за размножения, заражения, насыщения и прозрачности, изнурения и истребления, из-за эпидемии притворства, перехода во вторичное, притворное существование. Нет больше фатальной формы исчезновения – есть лишь частичный распад как форма рассеяния.

Ничто более не отражается в своем истинном виде ни в зеркале, ни в пропасти, которая являет собой не что иное, как раздвоение сознания к бесконечности. Логика вирусного рассеяния сетей уже не есть логика ценности или равноценности. Нет больше революции – есть лишь непрерывное вращение, закрученность спирали ценностей. Одновременно существующие центростремительная сила и удаленность всех систем от центра, внутренний метастаз и лихорадочное стремление к самоотравлению заставляют системы выйти за собственные границы, превзойти собственную логику, но не в тавтологическом смысле, а в росте могущества и фантастическом увеличении потенциала, таящего в себе их гибель.

Все эти перипетии приводят нас к истокам и предназначению ценности. Ранее, испытывая смутное желание создать классификацию ценностей, я выстроил некую трилогию: начальная стадия, когда существовали повседневные, бытовые ценности; рыночная стадия, когда ценность выступает как средство обмена; структурная стадия, когда появляется ценность-символ. Закон естественного развития – закон рынка – структурный закон ценностей. Эти различия, разумеется, носят формальный характер и немного напоминают те новые частицы, которые каждый месяц открывают физики. Одна частица отнюдь не исключает существования другой, они следуют друг за другом и дополняют одна другую в пределах некой гипотетической траектории. Теперь я хочу добавить новую частицу в этой физике микрообразов. После начальной, рыночной и структурной стадий ценности возникает стадия дробления. Начальной стадии соответствовало естественное природное состояние мира, и ценность развивалась согласно существовавшим естественным обычаям. Второй стадии соответствовала эквивалентность ценностей, и ценность развивалась согласно логике торговли. На третьей стадии появляется некий свод правил, и ценность развивается в соответствии с существующей совокупностью образов. На четвертой же стадии – стадии фрактальной, которую мы могли бы назвать также вирусной или стадией диффузии ценностей, – уже не существует соответствия чему бы то ни было. Ценность распространяется во всех направлениях, без какой-либо логики, присутствуя в каждой скважине и щели. На этой стадии не существует более равноценности, присущей другим

стадиям, нет больше самого закона ценности; есть лишь нечто, похожее на эпидемию ценности, на разрастание метастазов ценности, на ее распространение и рассеяние, зависящее лишь от воли случая. Строго говоря, здесь уже не следовало бы прибегать к самому понятию ценности, поскольку такое дробление, такая цепная реакция делает невозможным какое-либо исчисление и оценку. И вновь мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной той, что имеет место в физике микромира: провести расчеты в терминах прекрасного или безобразного, истинного или ложного, доброго или злого так же невозможно, как вычислить одновременно скорость частицы и ее положение в пространстве. Добро не располагается более по ту сторону зла, ничто не имеет определенного положения в системе абсцисс и ординат. Каждая частица движется в направлении, заданном ее собственным импульсом, каждая ценность или часть ее лишь мгновение сверкает на небосклоне лицедейства, а затем исчезает в пустоте, перемещаясь вдоль ломаной линии, редко соприкасающейся с траекториями других ценностей. Такова схема дробления – нынешняя схема нашей культуры.

Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения и предназначения, они вступают на путь бесконечного самовоспроизводства. Все сущее продолжает функционировать, тогда как смысл существования давно исчез. Оно продолжает функционировать при полном безразличии к собственному содержанию. И парадокс в том, что такое функционирование нисколько не страдает от этого, а, напротив, становится все более совершенным.

Таким образом, идея прогресса исчезла, но прогресс продолжается. Идея богатства, которая предполагает производство, исчезла, но производство как таковое осуществляется наилучшим образом. И по мере того, как исчезает первоначальное представление о его конечных целях, рост производства ускоряется. Идея исчезла и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, оставаясь втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам. О телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране, и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло.

Может быть, в каждой системе, в каждом индивидууме заложено тайное стремление избавиться от идеи своего существования, от своей сущности, с тем чтобы обрести способность размножаться и экстраполировать себя во всех направлениях? Но последствия такого распада фатальны. Всякая вещь, теряющая свою сущность, подобна человеку, потерявшему свою тень: она погружается в хаос и теряется в нем.

Здесь начинается порядок, а точнее, метастатический беспорядок размножения путем простого соприкосновения, путем ракового деления, которое более не повинуется генетическому коду ценности. Тогда начинают постепенно исчезать любовные приключения – приключения существ, наделенных половыми признаками; они отступают перед предшествующей стадией существ бессмертных и бесполых, которые, подобно одноклеточным организмам, размножались путем простого деления одного и того же вещества и отклонением от существующего кода. Современные технологически оснащенные существа – машины, клоны, протезы – тяготеют именно к этому типу воспроизводства и потихоньку насаждают его среди так называемых человеческих существ, снабженных признаками пола. Все современные исследования, в особенности биологические, направлены на совершенствование этой генетической подмены, этого последовательного, линейного воспроизводства, клонирования, партеногенеза, маленьких холостых механизмов.

В эпоху сексуального освобождения провозглашался лозунг максимума сексуальности и минимума воспроизводства. Сегодня мечтой клонического общества можно было бы назвать обратное: максимум воспроизводства и как можно меньше секса. Прежде тело было метафорой души, потом – метафорой пола. Сегодня оно не сопоставляется ни с чем; оно лишь вместилище метастазов и механического развития всех присущих им процессов, место, где реализуется программирование в бесконечность без какой-либо организации или возвышенной цели. И при этом тело настолько замыкается на себе, что становится

подобным замкнутой сети или окружности.

Метафора исчезает во всех сферах. Таков один из аспектов общей транссексуальности, которая, помимо самого секса, распространяется и на другие области в той мере, в какой они утрачивают свой специфический характер и вовлекаются в процесс смешения или заражения – в тот вирусный процесс неразличимости, который играет первостепенную роль во всех событиях наших дней.

Экономика, ставшая трансэкономикой, эстетика, ставшая трансэстетикой, сексуальность, ставшая транссексуальностью, – все это сливается в универсальном поперечном процессе, где никакая речь не сможет более быть метафорой другой речи, потому что для существования метафоры необходимо существование дифференцированного поля и различимых предметов. Но заражение всех дисциплин кладет конец такой возможности. Полная вирусная метонимия по определению (или, скорее, по отсутствию определения).

Тема вируса не представляет собой перемещения биологического поля, ибо все одновременно и в равной степени затронуто вирулентностью, цепной реакцией, случайным и бессмысленным размножением, метастазированием. И может быть, отсюда и наша меланхолия, так как прежде метафора была такой эстетичной, так играла на различиях и иллюзии различий. Сегодня метонимия (замена целого и простых элементов, общая коммутация слов) строится на крушении метафоры.

Взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров… Так, секс теперь присутствует не в сексе как таковом, но за его пределами, политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз, вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды.

Таким образом, СПИД связан скорее не с избытком секса и наслаждения, а с сексуальной декомпенсацией, вызванной общим просачиванием секса во все области жизни, с этим распределением секса по всем тривиальным вариантам сексуальной инкарнации. Когда секс присутствует во всем, теряется иммунитет, стираются половые различия и тем самым исчезает сама сексуальность. Именно в этом преломлении принципа сексуальной реальности на фрактальном, нечеловеческом уровне возникает хаос эпидемии.

Может быть, мы еще сохраним память о сексе, подобно тому, как вода хранит память о разжиженных молекулах, но, строго говоря, это будет лишь молекулярная, корпускулярная память о прошлой жизни. Это не память о формах и особенностях – о чертах лица, цвете глаз, – ведь вода не может помнить формы. Таким образом, мы храним отпечаток безличной сексуальности, разведенной в бульоне политической и информационной культуры и в конечном итоге в вирусном неистовстве СПИДа.

Закон, который нам навязан, есть закон смешения жанров. Все сексуально, все политично, все эстетично. Все одновременно принимает политический смысл, особенно с 1968 года: и повседневная жизнь, и безумие, и язык, и средства массовой информации, и желания приобретают политический характер, по мере того как они входят в сферу освобождения и коллективных, массовых процессов. В то же время все становится сексуальным, все являет собой объект желания: власть, знания – все истолковывается в терминах фантазмов и отталкивания; сексуальный стереотип проник повсюду. И одновременно все становится эстетичным: политика превращается в спектакль, секс – в рекламу и порнографию, комплекс мероприятий – в то, что принято называть культурой, вид семиологизации средств массовой информации и рекламы, который охватывает все – до степени ксерокса культуры. Каждая категория склонна к своей наибольшей степени обобщения, сразу теряя при этом всю свою специфику и растворяясь во всех других

категориях. Когда политично все, ничто больше не политично, само это слово теряет смысл. Когда сексуально все, ничто больше не сексуально, и понятие секса невозможно определить. Когда эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает. Это парадоксальное состояние вещей, которое является одновременно и полным осуществлением идеи, это совершенство современного прогресса, и его отрицание, ликвидация посредством переизбытка, расширения за собственные пределы можно охарактеризовать одним образным выражением: трансполитика, транссексуальность, трансэкономика.

Нет больше ни политического, ни художественного авангарда, который был бы способен предвосхищать и критиковать во имя желания, во имя перемен, во имя освобождения форм. Это революционное движение завершено. Прославленное движение современности привело не к трансмутации всех ценностей, как мы мечтали, но к рассеиванию и запутанности ценностей. Результатом всего этого стала полная неопределенность и невозможность вновь овладеть принципами эстетического, сексуального и политического определения вещей.

Пролетариату не удалось опровергнуть самого себя в качестве такового – это доказала полуторавековая история со времен Маркса. Ему удалось опровергнуть себя в качестве класса и тем самым упразднить классовое общество. Возможно, дело в том, что он и не был классом, как это считалось, – только буржуазия была подлинным классом, и, следовательно, только она и могла опровергнуть самое себя, что она с успехом и сделала, заодно уничтожив капитал и породив бесклассовое общество. Но это общество не имеет ничего общего с тем, которое должно было быть создано в результате революции и отрицания пролетариата как такового. Сам пролетариат просто рассеялся вместе с классовой борьбой. Несомненно, если бы капитал развивался согласно своей противоречивой логике, он был бы уничтожен пролетариатом. Анализ Маркса остается абсолютно безупречным. Он просто не предвидел, что перед лицом неминуемой угрозы капитал может в какой-то мере трансполитизироваться, переместиться на другую орбиту – за пределы производственных отношений и политических антагонизмов, автономизироваться в виде случайной, оборотной и экстатической формы и при этом представить весь мир во всем его многообразии по своему образу и подобию. Капитал (если его еще можно так называть) создал тупик в политической экономии и в законе стоимости: именно на этом направлении ему и удается избежать собственного конца. Отныне он действует вне своих собственных конечных целей и совершенно изолированно. Первым проявлением этой мутации стал, безусловно, кризис 1929 года; крах 1987 года – лишь последующий эпизод того же процесса.

В революционной теории есть также живое утопическое представление о том, что государство исчезнет, что политическое как таковое изживет себя в апофеозе и прозрачности социального. Ничего подобного не произошло. Политическое благополучно исчезло, но не возвысившись до социального, а увлекая его в своем исчезновении за собой. Мы обитаем в трансполитическом, иначе говоря, на нулевой отметке политического, характерной также и для его воспроизведения и бесконечной симуляции. Ибо все, что не выходит за свои пределы, имеет право на бесконечное возвращение к жизни. Поэтому политическое никогда не перестанет исчезать, но и не позволит ничему иному занять его место. Мы присутствуем при гистерезисе политического.

Искусство также не смогло, в соответствии с современной эстетической утопией, возвыситься в качестве идеальной формы жизни (прежде искусству не было надобности выходить за свои пределы, чтобы достичь целостности, ибо таковая уже существовала – религиозная целостность). Искусство растворилось не в возвышенной идеализации, а в общей эстетизации повседневной жизни, оно исчезло, уступив место чистой циркуляции образов, в трансэстетике банальности. В этих перипетиях искусство даже обогнало капитал. Если решающим политическим событием стал стратегический кризис 1929 года, в результате которого капитал вошел в политическую эру масс, то критическим событием в искусстве были, без сомнения, дадаизм и Дюшамп, когда искусство, отвергая свои собственные

правила эстетической игры, входит в трансэстетическую эру банальности образов.

Не реализовалась и сексуальная утопия, согласно которой секс должен был опровергнуть себя как обособленный вид деятельности и уподобиться всей жизни – мечта сексуального освобождения: полнота желания и его реализации у каждого из нас, и у мужчины, и у женщины одновременно, та сексуальность, о которой мечтают, успение желания независимо от пола.

Но на пути сексуального освобождения сексуальность достигла лишь автономизации, уподобившись безучастному кругообороту символов секса. Если мы действительно находимся на пути, ведущем к транссексуальности, это не поможет нам изменить жизнь посредством секса, а повлечет за собой смешение и скученность, которые ведут к виртуальной индифферентности пола.

Не является ли успех коммуникации и информатизации результатом того, что социальные отношения не могут выйти за свои пределы, будучи отчужденными? За неимением этого они возрастают в процессе коммуникации, множатся во всем многообразии сетей, натыкаясь на их безразличие. Коммуникация предстает перед нами как нечто наиболее социальное, это – сверхотношения, социальность, приводимая в движение техникой социального. Социальное же по своей сути есть нечто иное. Это была мечта, миф, утопия, форма, которой присущи конфликты, противоречия, страстность, во всяком случае, явление неровное и особенное. Коммуникация же, упрощая «интерфейс», ведет социальную форму к безразличию. Вот почему не существует утопии коммуникации. Утопия коммуникационного общества лишена смысла, потому что коммуникация является результатом неспособности общества преодолеть свои границы и устремиться к иным целям. Это относится и к информации: избыток знаний безразлично рассеивается по поверхности во всех направлениях, при этом происходит лишь замена одного слова другим. Интерфейс подключает собеседников друг к другу, как штекер к электрической розетке. Коммуникация осуществляется путем единого мгновенного цикла, и, для того чтобы все шло хорошо, необходим темп – времени для тишины не остается. Тишина изгнана с экранов, изгнана из коммуникации. Изображения, поставляемые средствами массовой информации (а тексты подобны изображениям), никогда не умолкают: изображения сообщений должны следовать друг за другом без перерыва. Молчание – разрыв замкнутой линии, легкая катастрофа, оплошность, которая по телевидению, например, становится весьма показательной, ибо это – нарушение, полное и тревоги, и ликования, подтверждающее, что любая коммуникация, по сути, есть лишь принудительный сценарий, непрерывная фикция, избавляющая нас от пустоты – и не только от пустоты экрана, но и от пустоты нашего умственного экрана, на котором мы с не меньшим вожделением ждем изображения. Образ сидящего человека, созерцающего в день забастовки пустой экран своего телевизора, когда-нибудь сочтут одним из самых великолепных образов антропологии XX века.

## Трансэстетика

Мы видим, что искусство повсеместно размножается, а разговоры о нем множатся еще быстрее. В то же время само искусство, с присущей ему гениальностью, авантюрностью, способностью порождать иллюзии и отрицать реальность, противопоставляя ей сцену, на которой вещи подчиняются правилам высшей игры, совершенное изображение, где люди, уподобляясь линиям и краскам на полотне, могут терять свое реальное содержание, ускорять свой собственный конец и в порыве соблазна воссоединяться со своей идеальной формой, будь то даже форма их собственного уничтожения, – это искусство исчезло. Исчезло искусство в смысле символического соглашения, отличающего его от чистого и простого производства эстетических ценностей, известного нам под именем культуры – бесконечного распространения знаков, рециркуляции прошлых и современных форм. Нет больше ни основного правила, ни критерия суждения, ни наслаждения. Сегодня в области эстетики уже не существует Бога, способного распознать своих подданных. Или, следуя другой

метафоре, нет золотого стандарта ни для эстетических суждений, ни для наслаждений. Это как валюта, которая отныне не подлежит обмену, курс которой не может колебаться по собственному усмотрению, избегая конверсии в цене или реальной стоимости.



***Снятие пятой и шестой печатей. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

То же происходит с нами и в искусстве: стадия сверхскоростной циркуляции и невозможности обмена. Произведения искусства более не подлежат обмену ни одно на другое, ни на какие-либо равные ценности. Они не обладают той тайной сопричастности,

которая составляет силу культуры. Мы их уже не читаем, а лишь расшифровываем по все более противоречивым «ключам».

Здесь нет противоречия. Новая геометрия, новая экспрессия, новая абстракция, новые формы – все это великолепно сосуществует во всеобщей индифферентности. Именно потому, что все эти тенденции не обладают более собственной гениальностью, они могут сосуществовать в одном и том же культурном пространстве. Именно потому, что все они вызывают у нас чувство глубокого безразличия, мы можем воспринимать их одновременно.

Артистический мир представляет собой странную картину. Будто имеет место застой искусства и вдохновения. Будто бы то, что веками чудесным образом развивалось, внезапно стало неподвижным, ошеломленным собственным изображением и собственным изобилием. За любым конвульсивным движением современного искусства стоит некий вид инерции, нечто, не могущее выйти за свои пределы и вращающееся вокруг своей оси, со все большей и большей скоростью повторяя одни и те же движения. Застой живой формы искусства – и одновременно размножение, беспорядочная инфляция ценности, многочисленные вариации всех предшествовавших форм (словно движения чего-то уже мертвого). И это вполне логично: где застой, там и метастазы. Там, где живая форма больше не распоряжается собой, где перестают действовать правила генетической игры (как в случае рака), клетки начинают беспорядочно размножаться. По существу, в том хаосе, который ныне царит в искусстве, можно прочесть нарушение тайного кода эстетики, подобно тому как в беспорядке биологического характера можно прочесть нарушение кода генетического.

Пройдя через освобождение форм, линий, цвета и эстетических понятий, через смешение всех культур и всех стилей, наше общество достигло всеобщей эстетизации, выдвижения всех форм культуры (не забыв при этом и формы антикультуры), вознесения всех способов воспроизведения и антивоспроизведения. Если раньше искусство было, в сущности, лишь утопией, или, иначе говоря, чем-то, ускользающим от любого воплощения, то сегодня эта утопия получила реальное воплощение: благодаря средствам массовой информации, теории информации, видео, – все стали потенциальными творцами. Все индустриальное машиностроение в мире оказалось эстетизированным; все ничтожество мира оказалось преображенным эстетикой.

Говорят, что великое начинание Запада – это стремление сделать мир меркантильным, поставить все в зависимость от судьбы товара. Но эта затея заключалась скорее в эстетизации мира, в превращении его в космополитическое пространство, в совокупность изображений, в семиотическое образование. Помимо рыночного материализма мы наблюдаем сегодня, как каждая вещь посредством рекламы, средств массовой информации и изображений приобретает свой символ. Даже самое банальное и непристойное – и то рядится в эстетику, облачается в культуру и стремится стать достойным музея. Все заявляет о себе, все самовыражается, набирает силу и обретает собственный знак. Система скорее функционирует за счет эстетической прибавочной стоимости знака, нежели за счет прибавочной стоимости товара.

Идут разговоры о дематериализации искусства и вместе с тем о минимальном искусстве, о концептуальном искусстве, об эфемерном искусстве, об антиискусстве, о целой эстетике прозрачности, исчезновения, дезинкарнации, но в действительности эта эстетика повсюду обретает свое материальное воплощение в операционной форме. Впрочем, именно поэтому искусство вынуждено уменьшаться, изображая собственное исчезновение. И оно совершает это уже в течение века, следуя всем правилам игры. Как все исчезающие формы, искусство пытается возрасти посредством симуляции, но вскоре оно окончательно прекратит свое существование, уступив место гигантскому искусственному музею искусств и разнузданной рекламе.

Головокружительные эклектические формы и забавы были присущи уже барокко. Но головокружение от искусства – это головокружение чувственное. Как и приверженцы стиля барокко, мы являемся неутомимыми создателями образов, но в тайне все-таки остаемся иконоборцами. Но не теми, кто разрушает образы, а теми, кто создает изобилие

образов, ничего в себе не несущих. Большинство современных зрелищ, видео, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные средства, синтезированные образы – все это представляет собой изображения, на которых буквально невозможно увидеть что-либо. Все они лишены теней, следов, последствий. Все, что мы можем почувствовать, глядя на любое из этих изображений, – это исчезновение чего-то, прежде существовавшего. В них и нет ничего иного, кроме следов того, что исчезло. Все, что очаровывает в картине, выполненной в одном цвете, – это восхитительное отсутствие всякой формы. Это стирание всякого эстетического синтаксиса, происходящее еще под видом искусства, завораживает так же, как совершающееся еще на уровне представления стирание половых различий в транссексуальности. Эти изображения ничего не скрывают и ничего не показывают, в них присутствует какая-то отрицательная напряженность. Не надо больше задаваться вопросом о красоте или безобразии, о реальном или вымышленном, о превосходстве или несовершенстве, подобно тому как византийские иконы позволяли не задаваться больше вопросом о существовании Бога, но люди при этом не переставали верить в Него.

Это и есть чудо. Наши образы похожи на иконы: они позволяют нам продолжать верить в искусство, избегая при этом вопроса о его существовании. Таким образом, быть может, следует рассматривать все наше современное искусство как ритуал, придавая значение лишь его антропологической функции и не высказывая никаких суждений эстетического характера. Вероятно, мы вернулись к культурному уровню первобытного общества (умозрительный фетишизм рынка искусства сам является частью ритуала призрачности искусства).

Мы оказались в окружении то ли ультраэстетики, то ли инфраэстетики. Бесполезно искать в нашем искусстве какую-либо связность или эстетическое предназначение. Это было бы подобно стремлению отыскать небесную голубизну среди инфракрасного или ультрафиолетового.

В этом смысле мы, не будучи ни среди прекрасного, ни среди безобразного и не имея возможности судить ни о том, ни о другом, обречены на безразличие. Но по ту сторону этого безразличия возникает, подменяя собой эстетическое наслаждение, ослепление иного рода. Раз и навсегда освобожденные от своих взаимных оков, красота и уродство как бы разрастаются, становясь более красивыми, чем сама красота, или более уродливыми, чем само уродство. Таким образом, современная живопись, строго говоря, культивирует не уродство (которое еще обладает эстетической ценностью), а нечто еще более безобразное, чем просто уродство, – кич, уродство в квадрате, ибо оно никак не соотнесено со своей противоположностью.

Если вы не ощущаете воздействия от подлинного Мондриана, вы вольны творить в манере, более характерной для него, чем он сам. Не имея ничего общего с простодушными людьми, вы можете прикинуться наивнейшим простачком. Освободившись от реального, вы способны создать нечто большее, чем реальность, – сверхреальность. Именно с суперреализма и поп-искусства все и началось, когда обыденную жизнь начали возвышать до уровня иронического могущества фотографического реализма. Сегодня эта эскалация объединяет абсолютно все формы искусства и все стили, которые входят в трансэстетическую сферу симуляции.

На самом рынке искусства имеется параллель этой эскалации. Здесь тоже, коль скоро больше не существует рыночного закона стоимости, все становится дороже, чем самое дорогое, дорогим вдвойне: цены чрезвычайно высоки, инфляция беспредельна. Точно так же, как при отсутствии правил эстетической игры, игра эта начинает полыхать во всех направлениях, так и при утрате связи с законом товарообмена рынок начинает трясти от безудержной спекуляции.

Та же горячность, то же безумие, тот же эксцесс. Рекламная вспышка искусства напрямую связана с невозможностью какой-либо эстетической оценки. Стоимость растет тогда, когда отсутствует суждение о ней. Мы присутствуем при экстазе ценности.

На сегодняшний день существуют два рынка искусства. Один пока еще регулируется

иерархией ценностей, даже если эти ценности уже имеют спекулятивный характер. Другой же устроен по образцу неконтролируемого оборотного капитала финансового рынка: это – спекуляция, всеобщая ленная зависимость, которая, кажется, не имеет иной цели, кроме как бросить вызов закону стоимости. Этот рынок искусства более походит на покер или на потлач – на научно-фантастический сюжет в гиперпространстве ценностей. Надо ли этим возмущаться? В этом нет ничего аморального. Как современное искусство находится по ту сторону красоты и безобразия, так и рынок существует по ту сторону добра и зла.

## Транссексуальность

В наши дни тело, имеющее половые признаки, предоставлено своего рода искусственной судьбе. Эта искусственная судьба – транссексуальность. Транссексуальность не в анатомическом, а в более общем смысле. Речь идет о маскараде, об игре, построенной на коммутации признаков пола, на половом безразличии в противовес той, прежней игре, что основывалась на половых различиях, об индифферентности сексуальных полюсов и равнодушии к сексу как источнику наслаждения. Сексуальность связана с наслаждением (это – лейтмотив освобождения), транссексуальность – с искусственностью, будь то уловки, направленные на изменение пола, или присущая трансвеститу игра знаков, относящихся к одежде, морфологии, жестам. Во всех случаях – имеет ли место операция хирургическая или полухирургическая, подлежит ли замене орган или знак – речь идет о протезировании, и сегодня, когда предназначение тела состоит в том, чтобы стать протезом, вполне логично, что моделью сексуальности становится транссексуальность, и именно она станет повсюду пунктом обольщения.

Все мы транссексуалы. Мы такие же потенциальные транссексуалы, как и биологические мутанты. И это не вопрос биологии – мы транссексуалы в смысле символики.

Взгляните на Чичиолину. Есть ли на свете более великолепное воплощение секса, порнографической невинности секса? Ее антипод – Мадонна, этот девственный плод аэробики и ледяной эстетики, лишенный всякого шарма и всякой чувственности, мускулистое человекообразное существо. Потому-то и смогли создать из нее синтетического идола. Но сама Чичиолина – разве она не транссексуальна? Длинные волосы серебристого цвета, литые груди в форме ложек, идеальные формы надувной куклы, вульгарный эротизм комиксов или научно-фантастических фильмов и в особенности постоянные разговоры на сексуальные темы, которые, впрочем, никогда не носят извращенного или разнузданного характера, дозволенные отклонения; словом, идеальная женщина, сидящая перед розовым телефоном, в сочетании с плотоядной эротической идеологией, которую, вероятно, не приписала бы себе ни одна женщина, кроме, конечно, транссексуалки, трансвестита: только они, как известно, живут преувеличенными символами – плотоядными символами сексуальности. Чувственная эктоплазма, каковую являет собой Чичиолина, соединяется здесь с искусственным нитроглицерином Мадонны или с очарованием Майкла Джексона – этого гермафродита в стиле Франкенштейна. Все они мутанты, трансвеститы, генетически вычурные существа. Все они – игроки от пола, перебежчики из одного пола в другой.

Посмотрите на Майкла Джексона. Он одинокий мутант, предшественник всеобщего и потому величественного смешения рас, представитель новой расы. Перед сегодняшними детьми нет никаких преград на пути к обществу смешанных рас: оно – их Вселенная, а Майкл Джексон предвосхищает то, что они представляют себе как идеальное будущее. К этому надо добавить, что Майкл Джексон и переделал свое лицо, и взбил волосы, и осветлил кожу – короче, он самым тщательным образом создал сам себя. Это превратило его в невинное, чистое дитя, в искусственный, сказочный двуполый персонаж, который скорее, чем Христос, способен воцариться в мире и примирить его, потому что он ценнее, чем дитя-бог: это дитя-протез, эмбрион всех мыслимых форм мутации, которые, вероятно, освободят нас от принадлежности к определенной расе и полу.

Все мы агностики или трансвеститы от искусства или секса. У нас нет больше ни эстетических, ни сексуальных убеждений. Мы исповедуем все убеждения без исключения.

Миф о сексуальной свободе остается живым в многочисленных формах в реальном мире, а в воображении доминирует именно транссексуальный миф с присущими ему двуполыми и гермафродитическими вариантами. После оргии наступает время маскарада, после желания появляется все то, что уподобляется эротическому, хаос и транссексуальный беспредел (кич) во всей своей красе. Постмодернистская порнография, если можно так выразиться, где сексуальность теряется в театральных излишествах своей двусмысленности. Вещи очень изменились с тех пор, как секс и политика составляли часть одного и того же разрушительного плана: если Чичиолина может быть сегодня избрана депутатом итальянского парламента, то именно потому, что транссексуальность и трансполитика объединяются в одном и том же ироничном безразличии. Такой результат – немыслимый всего несколько лет назад – свидетельствует о том, что не только сексуальная, но и политическая культура перешла на сторону маскарада.

Эта стратегия изгнания телесного посредством символов секса, изгнание желания посредством его преувеличенных демонстраций является более эффективной, чем стратегия доброго старого подавления путем запрета. Однако в отличие от стратегии запрета стратегию изгнания испытывают на себе все без исключения; становится непонятным, кто же в конце концов от нее выигрывает. Образ жизни трансвестита стал самой основой наших действий, даже тех, что направлены на поиск подлинности и различий. У нас нет больше времени искать свою тождественность ни в архивах, ни в памяти, ни в каких-либо планах или в будущем. Нам нужна мгновенная память, быстрое ветвление, нечто вроде рекламной тождественности, которая может подтвердиться в любой момент. Таким образом, сегодня мы стремимся не столько к здоровью, которое представляет собой состояние органического равновесия, сколько к эфемерному, гигиеническому, рекламному ореолу тела, что есть совершенство гораздо большее, нежели просто идеальное состояние. Что же касается моды и внешнего вида, мы жаждем отнюдь не красоты или обольстительности, мы жаждем обличья.

Каждый ищет свое обличье. Так как более невозможно постичь смысл собственного существования, остается лишь выставлять напоказ свою наружность, не заботясь ни о том, чтобы быть увиденным, ни даже о том, чтобы быть. Человек не говорит себе: я существую, я здесь, но: я видим, я – изображение, смотрите же, смотрите! Это даже не самолюбование, это – поверхностная общительность, разновидность рекламного простодушия, где каждый становится импресарио своего собственного облика.

Облик есть некая разновидность минимального изображения минимальной четкости – нечто подобное видеоизображению, разновидность осязаемого изображения, как сказал бы Маклюэн, не вызывающего ни взгляда, ни восхищения, как это происходит с модой, но чисто специфический эффект без особой значимости. Облик – это уже не мода, это ушедшая разновидность моды. Это нечто, не претендующее даже на логику различий, не являющееся более игрой различий, но лишь пытающееся играть в различия, не веря в саму эту возможность. Это – безразличие, отсутствие различий. Быть самим собой становится эфемерным достижением, не имеющим будущего, маньеризмом, терпящим разочарование в этом мире, где отсутствуют манеры.

В ретроспективе этот триумф транссексуальности и маскарада бросает странный свет на сексуальное освобождение предшествующих поколений. Не будучи вторжением максимальной эротической ценности тела, это освобождение с присущим ему привилегированным успением женственности и наслаждения было, быть может, лишь промежуточной стадией на пути к смешению полов. Сексуальная революция была, видимо, лишь этапом на пути к транссексуальности. В сущности, в этом – проблематичное предназначение любой революции.

Кибернетическая революция подводит человека, оказавшегося перед лицом равновесия

между мозгом и компьютером, к решающему вопросу: человек я или машина? Происходящая в наши дни генетическая революция подводит человека к вопросу: человек я или виртуальный клон? Сексуальная революция, освобождая все виртуальные аспекты желания, ведет к основному вопросу: мужчина я или женщина? (Психоанализ по крайней мере положил начало этой неуверенности.) Что же касается политической и социальной революции, послужившей прототипом для всех других, она, предоставив человеку право на свободу и собственную волю, с беспощадной логикой заставила его спросить себя, в чем же состоит его собственная воля, чего он хочет на самом деле и чего он вправе ждать от самого себя. Поистине неразрешимая проблема. Таков парадоксальный итог любой революции: вместе с ней приходят неопределенность, тревога и путаница. По окончании оргии освобождение поставило весь мир перед проблемой поиска своей родовой и половой идентичности, оставляя все меньше и меньше возможных ответов, если учесть циркуляцию знаков и множественность желаний. Именно таким образом мы стали транссексуалами. Точно также мы стали транcполитиками, т. е. существами, не различающими ничего и не различимыми ни в чем, что касается политики, двуполыми гермафродитами, взяв при этом на вооружение, тщательно обдумав и в конце концов отбросив наиболее противоречивые идеологии, нося отныне только маску и сделавшись, может быть сами того не желая, трансвеститами от политики.

## Трансэкономика

Весьма любопытной чертой, связанной с крахом на Уолл-стрит в 1987 году, является неуверенность в том, имела ли на самом деле место настоящая катастрофа и ожидается ли таковая в будущем. Правильный ответ – нет, реальной катастрофы не будет, потому что мы живем под знаком катастрофы виртуальной.

В этом контексте красноречиво проявляется несоответствие между фиктивной экономикой и экономикой реальной. Именно этот диссонанс и защищает нас от реальной катастрофы производительной экономики.

Хорошо это или плохо? Это то же самое, что несоизмеримость между орбитальной войной и территориальными войнами. Последние продолжаются повсеместно, но ядерная война при этом не разражается. Однако если бы не эта несоизмеримость, ядерный конфликт уже давно бы произошел. Мы живем под бомбами, которые не взрываются, и виртуальными катастрофами, которые не разражаются. Это и международный биржевой и финансовый крах, и ядерное столкновение, и бомба долгов стран Третьего мира, и демографическая бомба. Можно, конечно, предсказать, что в один прекрасный день все это неминуемо взорвется, как предсказывают сейсмическое сползание Калифорнии в Тихий океан в ближайшие 50 лет. Но факты говорят о том, что мы находимся в таком положении, когда взрыва не происходит. Единственная реальность – это безудержный орбитальный кругооборот капитала, который, если и завершится обвалом, не повлечет за собой существенного нарушения равновесия в реальной экономике (в отличие от кризиса 1929 года, когда противоречия между двумя экономиками еще не были столь значительными). Без сомнения, так происходит потому, что сфера спекулятивных оборотных капиталов уже настолько автономна, что сами ее конвульсии не оставляют никаких следов.

Они, однако, оставляют убийственный след в экономической науке, совершенно безоружной перед лицом этого взрыва своего объекта. Так же безоружны и теоретики войны. Ибо на войне бомба тоже не взрывается, а сама война подразделяется на всеобщую виртуальную войну на космической орбите и многочисленные реальные войны на земле. У этих двух разновидностей войны разный масштаб и разные правила; то же самое можно сказать и об экономике виртуальной и экономике реальной. Нам надо привыкнуть к этому разделению… Конечно же, был кризис 1929 года, был и атомный взрыв в Хиросиме – моменты настоящего краха и столкновения, но ни капитал не переходил из кризиса в кризис все большей глубины, как того хотелось Марксу, ни война – от столкновения

к столкновению.

Событие происходит единожды, и на этом – все. Продолжение – уже нечто совсем другое: гиперреализация и крупного финансового капитала, и средств массового уничтожения – все это находится у нас над головами, в векторном пространстве, ускользающем не только от нас, но и от самой реальности; гиперреализованные войны и деньги вращаются в недоступном пространстве, которое оставляет мир таким, какой он есть. В конечном итоге экономика продолжает производить, в то время как малейшего логического следствия из колебаний фиктивной экономики было бы достаточно, чтобы ее уничтожить (не забудем, что объем товарообмена сегодня в 45 раз уступает объему перелива капитала). Мир продолжает существовать, при том что высвобождения тысячной доли ядерной мощи хватило бы на то, чтобы его уничтожить. Третий мир, как и два других, выживает, тогда как достаточно было бы малейшей робкой попытки взыскать с него долги, чтобы прекратились все поставки. Впрочем, долг начинает приобретать орбитальный, циклический характер, перемещаясь по кругу из одного банка в другой, из одной страны в другую – ту, которая вновь обретает его, так что в конце концов о нем благополучно забудут, выведут на орбиту, как атомные отходы и многое другое, и он, долг, будет великолепно на этой орбите крутиться. Эти отсутствующие оборотные капиталы и это негативное богатство в какой-то момент, несомненно, начнут котироваться на бирже.

Когда долг становится слишком обременительным, его взрывают в виртуальном пространстве, где он выступает в роли катастрофы, замороженной на своей орбите. Долг становится спутником Земли, подобно тому как миллиарды свободного капитала превратились в груду – спутник, неустанно вращающийся вокруг нас. И, без сомнения, это к лучшему. Пока они вращаются, пусть даже взрываясь в своем пространстве (как это было с миллиардами, потерянными во время краха 1987 года), мир остается неизменным, а это лучшее, на что можно надеяться. Потому что надежда примирить фиктивную экономику с реальной утопична: эти свободно обращающиеся миллиарды долларов невозможно переместить в реальную экономику, что, впрочем, является большой удачей, ибо, если бы каким-то чудом они оказались вложены в производство, это стало бы настоящей катастрофой. Оставим и виртуальную войну на ее орбите, ибо именно там она нас защищает: благодаря своей крайней абстрактности и чудовищной эксцентричности, ядерное оружие оказывается нашей лучшей защитой. И мы привыкаем жить в тени таких наростов, как орбитальная бомба, финансовая спекуляция, мировой долг, перенаселение (для которого пока не найдено орбитального решения, но надежда не потеряна). В том виде, как они есть, они изгоняются в своем избытке, даже в своей гиперреальности, и оставляют мир в какой-то мере невредимым, освобожденным от своего двойника.

Сегален говорил, что, начиная с того момента, когда действительно узнали, что Земля – сфера, путешествие перестало существовать, потому что удаляться от какой-либо точки сферы означает к этой же точке приближаться. На сфере линейность приобретает странную кривизну, кривизну однообразия. С тех пор как астронавты начали вращаться вокруг Земли, каждый стал тайком вращаться вокруг самого себя. Началась орбитальная эра, [квинтэссенцию] которой великолепным образом составляет телевидение и многое другое, подобно тому как круговорот молекул и спиралей ДНК составляет тайну наших клеток. С началом первых орбитальных космических полетов завершилось освоение мира, но сам прогресс стал круговым, а человеческая вселенная превратилась в огромную орбитальную станцию. Как сказал Сегален, начинается «туризм» – нескончаемый туризм людей, которые, строго говоря, не путешествуют, а двигаются по кругу в замкнутом пространстве.

Экзотика умерла. Тезис Сегалена приобретает более широкий смысл. Перестает существовать не только путешествие, т. е. постижение Земли, но и физика и метафизика поступательного движения; от них остается лишь циркуляция, а все то, что предназначалось для возвышения, превосходства, устремления в бесконечность – знание, техника, сознание, – искусно отклоняется, дабы выйти на орбиту. Переставая быть совершенными в своих замыслах, эти области начинают создавать для себя постоянную орбиту. Таким образом,

и информация орбитальна: это знание, которое никогда больше не превзойдет само себя, не отразится в бесконечности, но и не коснется земли, ибо не имеет на ней надежной пристани, где можно бросить якорь. Все это движется, вращается, совершая порой совершенно бесполезные обороты (но вопрос о полезности более не стоит), и разрастается с каждым оборотом, с каждым витком спирали. Телевидение – это изображение, которое больше ни о чем не помышляет и которое не имеет больше ничего общего с реальностью. Это – круговая орбита. Атомная бомба – будь она спутником или нет – также явление орбитальное: она не перестанет преследовать Землю, оставаясь на своей траектории, но она не создана и для того, чтобы поразить Землю: она не есть завершенная бомба; эта бомба не окончит своего существования (по крайней мере, на это надеются); она там, на орбите, и этого вполне достаточно для терроризирования, по крайней мере для устрашения.

Она не заставляет даже думать об ужасах разрушения, поскольку само разрушение представляется невероятным; она просто находится там, на орбите, в подвешенном состоянии и бесконечном повторении. То же самое можно сказать о евродолларах и об обращающихся денежных массах… Все становится спутником; похоже, и сам наш мозг уже вне нас, он витает вокруг в бесчисленных ветвлениях круговых электромагнитных волн.

И это не из области научной фантастики. Это просто обобщение теории Мак-Люэна о «развитии человека». Все, что есть в человеческом существе – его биологическая, мускульная, мозговая субстанция, – витает вокруг него в форме механических или информационных протезов. Просто у Мак-Люэна все это представлено как позитивная экспансия, как универсализация человека через его опосредованное развитие. И все это весьма оптимистично. В действительности же, вместо того чтобы концентрически вращаться вокруг тела, все эти функции превратились в сателлиты, расположившиеся в эксцентрическом порядке. Они сами вывели себя на орбиту, и человек сразу же оказался в состоянии эксцесса и эксцентричности относительно этой орбитальной экстравертности своих собственных функций, своей собственной технологии. Человек вместе со своей планетой Земля, со своим ареалом, со своим телом сегодня сам стал спутником тех самых сателлитов, которые он же создал и вывел на орбиту. Из превосходящего он стал чрезмерным.

Но сателлитом становится не только тело человека, чьи функции, выходя на орбиту, принуждают его к этому. Все функции общества, в особенности высшие функции, отделяются и выходят на орбиту. Война, финансовые сделки, техносфера, коммуникации становятся сателлитами в непостижимом пространстве, повергая в запустение все остальное. Все, что не достигает орбитального могущества, обречено на запустение, отныне не подлежащее обжалованию, потому что нет больше прибежища в каком-либо превосходстве.

Мы находимся в эре невесомости. Наша модель – космическая ниша, кинетическая энергия которой аннулирует энергию Земли. Центробежная энергия многочисленных технологий освобождает нас от всякой силы тяготения и наделяет нас бесполезной свободой движения. Свободные от всякой плотности и гравитации, мы вовлечены в орбитальное движение, которое рискует стать вечным.

Мы существуем не среди возрастания, но среди наростов. Мы живем в обществе размножения, в обществе того, что продолжает возрастать и что невозможно измерить, того, что развивается, не обращая внимания на свою природу, чьи результаты разрастаются с исчезновением причин, что ведет к необычайному засорению всех систем, к разрушению посредством эксцесса, избытка функциональности, насыщения. Лучше всего это можно сравнить с процессом распространения раковых метастазов: утрата телом правил органической игры ведет к тому, что тот или иной набор клеток может выражать свою неукротимую и убийственную жизнеспособность, не подчиняясь генетическим командам, и неограниченно размножаться.

Это уже не критическое состояние: кризис всегда связан с причинностью, с нарушением равновесия между причиной и следствием; он может разрешиться

или не разрешиться посредством исправления причин. В нашей же ситуации причины сами перестают быть четкими, они уступают место интенсификации процессов в пустоте.

Коль скоро в системе возникает дисфункция, неподчинение известным законам функционирования, имеется и перспектива решения за счет выхода за пределы. Но такое решение не представляется возможным, когда система сама вышла за свои пределы, когда она превзошла свои собственные цели и когда для нее уже нельзя найти никакого лекарства. Пустота никогда не бывает трагичной, насыщение всегда фатально; оно порождает одновременно и столбняк, и инертность.

Прежде всего, поразительна непомерная «тучность» всех современных систем, эта, как говорит о раке Сьюзен Зонтаг, «дьявольская беременность», присущая нашим механизмам информации, коммуникации, памяти, складирования, созидания и разрушения, механизмам столь избыточным, что они заранее застрахованы от какого-либо использования. В действительности не мы покончили с потребительской стоимостью, а сама система ликвидировала ее путем перепроизводства. Произведено и накоплено столько вещей, что они просто не успеют сослужить свою службу (что является великим благом, когда речь идет об атомных вооружениях). Написано и распространено столько знаков и сообщений, что они никогда не будут прочитаны. К счастью для нас! Ибо даже с той малой частью, которую мы абсорбируем, с нами происходит нечто, подобное казни на электрическом стуле.

Этой необычайной бесполезности присуща некая особая тошнота. Тошнота, испытываемая миром, который размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться. Все мемуары, все архивы, вся документация не в состоянии разродиться одной-единственной идеей; все эти планы, программы, решения не могут разрешиться каким-либо событием; все изощренное оружие не может разразиться войной!

Это насыщение превосходит эксцесс, о котором говорил Батай и который все общественные формации всегда умели разрушать в результате бесполезных чрезмерных трат. У нас нет возможности истратить все накопленное, и нам не остается ничего, кроме медленной или быстрой декомпенсации, так как каждый фактор ускорения, играя роль фактора инертности, приближает нас к точке апогея инертности. И ощущение катастрофы есть предчувствие достижения этой точки.

Этот двойной процесс парализации и инертности, ускорения в пустоте, избыточности производства при отсутствии социального содержания и конечных целей, отражает и двойственный феномен, который принято приписывать кризису: инфляция и безработица.

Традиционные инфляция и безработица составляют переменные, входящие в уравнение роста: на этом уровне кризиса нет – есть лишь неупорядоченные процессы, а сама их неупорядоченность является тенью органической целостности. Ныне аномалия приобретает весьма тревожный характер. Она не явный симптом, а странный знак упадка, нарушения правил какой-то тайной игры или по меньшей мере чего-то, нам неизвестного. Возможно, это эксцесс конечной цели, но мы ничего об этом не знаем. Что-то от нас ускользает, мы сами скрываемся в невозвратности, мы прошли некую точку обратимости, предметной противоречивости и живьем вступили в космос непротиворечивости, увлеченности, экстаза, удивления перед необратимыми процессами, впрочем не имеющими смысла.

Но есть нечто другое, гораздо более ошеломляющее, чем инфляция. Это – оборот денежной массы, охватывающий Землю своей круговой орбитой. Единственный настоящий искусственный спутник – монета, ставшая чистым артефактом, обладающая поразительной мобильностью, мгновенной обращаемостью и нашедшая наконец свое настоящее место, еще более необычное, чем фондовая биржа: орбиту, где она всходит и заходит, подобно искусственному солнцу.

И безработица тоже изменила смысл. Это уже не стратегия капитала (резервная армия), не критический фактор в игре социальных отношений. Иначе, при том что напряженность уже превзошла все пределы, безработица привела бы к неслыханным потрясениям. Что же происходит сегодня? Безработица тоже стала разновидностью искусственного спутника; это – сателлит инертности, масса, заряженная даже не отрицательным зарядом,

но статическим электричеством, та все более возрастающая часть общества, которая застывает.

За ускорением обращаемости и обмена, за ожесточением движения что-то внутри нас, в каждом из нас ослабевает вплоть до исчезновения из обращения. И тогда все общество начинает вращаться вокруг этой точки инертности, как если бы полюса нашего мира сблизились и в то же время короткое замыкание повлекло бы мощные эффекты и истощение потенциальной энергии. В данном случае речь идет уже не о кризисе, а о фатальном событии, о замедленной катастрофе.

В этом смысле нет никакого парадокса в том, что экономика с триумфом возвращается на повестку дня. Можно ли еще говорить об экономике? Эта ее кажущаяся актуальность не имеет более того смысла, как в классическом или марксистском анализе. Ибо ее движущей силой не является более инфраструктура материального производства; это – распад структуры стоимости, дестабилизация рынка и реальной экономики, триумф экономики, освободившейся от идеологий, от общественных наук, от истории, триумф экономики, освобожденной от экономических законов и предоставленной чистой спекуляции, виртуальной экономики, свободной от экономики реальной (конечно же, не в реальном, а в виртуальном смысле, но ведь сегодня правит бал не реальность, а виртуальность); это – триумф вирусной экономики, сходной с другими вирусными процессами.

Экономика становится ареной современной жизни именно в качестве арены спецэффектов, непредсказуемых результатов иррациональной игры.

Конец политической экономии, о котором мы так мечтали вместе с Марксом, заключается, в соответствии с неумолимой логикой кризиса капитала, в уничтожении классов и в прозрачности социальных перегородок. Позднее мы мечтали о том же, отрицая сами постулаты и экономической науки, и марксистской критики по одной и той же причине: это альтернатива, отрицающая всякий примат экономического или политического; экономика при этом оказывается просто-напросто упраздненной, как эпифеномен, побежденный своим собственным подобием и высшей логикой.

Сегодня даже нет надобности мечтать об этом: политическая экономия кончается на наших глазах, превращаясь в трансэкономику спекуляции, которая забавляется своей собственной логикой – закон стоимости, законы рынка, производство, прибавочная стоимость, классическая логика капитала, – но которая не несет в себе более ничего экономического или политического. Это – чистая игра с изменчивыми и произвольными правилами, катастрофическая игра.

Политическая экономия, таким образом, вероятно, подошла к своему концу, но не так, как ожидалось, а разрастаясь до пародии на самое себя. Спекуляция – не прибавочная стоимость, это высшая точка стоимости, не опирающаяся ни на производство, ни на его реальные условия. Это чистая и пустая форма, вымаранная форма стоимости, играющая только на своем поле кругового движения – орбитального вращения. Нарушая свою собственную стабильность самым чудовищным и в какой-то мере ироничным образом, политическая экономия закрывает путь всякой альтернативе.

## *Эмиль Мишель Сиоран*
## Конец истории

### Часть 1. Время апокалипсиса
### *(из эссе Э. М. Сиорана «Механика утопии», перевод Б. Дубина, и из книги Э. М. Сиорана «Падение во время», перевод Н. Мавлевич В. Никитина)*

## Утопия или апокалипсис?

В какой бы большой город ни заносила меня игра случая, я всякий раз удивляюсь, как это в нем что ни день не разражаются мятежи, резня, неслыханные побоища, светопреставление, наконец? Как столько людей могут сосуществовать в этакой тесноте, не уничтожая один другого, не питая друг к другу смертной ненависти? Любой из нас, естественно, ненавидит окружающих. Но не до белого каления. И эта усредненность, эта дряблость хранит общество от срыва, утверждает преемственность, прочность. Временами как будто чувствуешь подземный толчок, инстинкты просыпаются, но вот все уже опять смотрят друг другу в глаза, словно решительно ничего не произошло, и живут бок о бок, не поедая соседа, по крайней мере на людях. Все приходит в порядок, возвращается к спокойствию повседневных зверств, в конечном счете не менее опасному, чем только что нарушивший его хаос.

Но еще удивительней другое: в обществе со всеми его прелестями находятся люди, упорно воображающие, будто оно может стать иным, в корне перемениться. Откуда такое простодушие, такое неразумие? Вопрос, казалось бы, естественный, больше того – банальный. Но, может быть, мне извинят стоящее за ним любопытство, которое, напротив, здоровым не назовешь.

Ища новых испытаний и совсем было отчаявшись их отыскать, я подумал: а что, если взяться за утопическую словесность, обратиться к ее так называемым шедеврам, погрузиться, нырнуть в это все с головой? К вящей радости, там я нашел, чем утолить свою жажду покаяния, тягу к самоуничтожению. Несколько месяцев подряд сличать между собой сны о лучшем будущем, о пресловутом идеальном обществе, питаться этим неудобочитаемым хламом – какая невероятная удача! Предупрежу сразу: в подобной никчемной словесности скрыто немало поучительного, и тот, кто в нее окунется, не потеряет времени уж совсем даром. Он воочию увидит ту роль (полезную или губительную, решайте сами), которую играет в завязке любых событий даже не само счастье, а идея счастья. Идея, без которой не понять, почему с тех самых пор, как на земле вместе с историей воцарился железный век, каждая эпоха пускается на поиски совсем другого века – золотого. Положите этим поискам конец, и начнется всеобщий застой. Нас ведет одно – чары несбыточного. Иначе говоря, обществу, которое неспособно дать жизнь утопии и посвятить себя ей, угрожают склероз и распад. Житейская мудрость (до чар, как известно, не охотница) советует держаться счастья общедоступного, непридуманного. Человек отвечает отказом, и этот отказ – единственное, что делает его историческим существом, другими словами – искателем недосягаемого счастья.



***Четыре ангела, сдерживающих ветры, и 144000 запечатлённых. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали», – сказано в Апокалипсисе. Опустим небо, ограничимся «новой землей» – и перед нами ключ и формула утопических систем. Для пущей точности стоило бы заменить «землю» «городом», но это уже детали. Важно другое: предчувствие нового пришествия, лихорадка неотступного ожидания, обмельчавшая, осовремененная парусия, которая и порождает эти системы, дорогие сердцам обездоленных. Нищета – заветная соломинка утописта, сырье его труда, хлеб мысли, путеводная звезда наваждений. Что бы он делал,

не будь нищеты? Она поглощает его ум, окрыляет или стоит поперек дороги – смотря по тому, беден он или богат. Но и нищете, в свою очередь, не обойтись без утописта: ей позарез нужен такой теоретик, такой фанатик будущего. Тем более что сама она, бесконечно размышляя над тем, как сбежать из настоящего, без одержимости иной землей впадает в непереносимое отчаяние. Не верите? Значит, не пришлось вам хлебнуть настоящей нужды. А если приведется, тогда вы поймете: чем большего вы лишены, тем больше времени и энергии расходуете на то, чтобы мысленно изменить все, иначе говоря тратите попусту. Я имею в виду не учреждения, дело рук человеческих – их вы прокляли раз и навсегда, – а сам ход вещей, обычных вещей, в том числе самых ничтожных. Не принимая их такими, как есть, вы пытаетесь навязать им свои законы и причуды, а сами красуетесь за их счет в роли законодателя, самодержца. Вы не оставляете в покое даже природу, рветесь перекроить ее облик и строй. Воздух не по вам – сменить, и немедленно! Камень? Та же история. А растительность? А человек? Добраться до устоев бытия, до самых основ хаоса – подчинить даже их, утвердиться даже там! Человек без гроша в кармане не находит себе места, он в горячке, он мечтает завладеть всем на свете и, пока в нем бушует неистовство, взаправду владеет этим всем, равный Богу, только никто этого не видит, даже Бог, даже он сам. Бред неимущих – прародитель любых событий, первоначало истории. Толпа бесноватых, жаждущих иного мира здесь и сейчас же, – это они вдохновляют утопии, это ради них утопии создаются. Но утопия, как мы помним, значит «нигдейя».

И откуда бы, в самом деле, взяться этим городам, которые стороной обходит беда, где труд – благословение и в чьих стенах никто не боится смерти? Там царит принудительное счастье геометрических идиллий, регламентированных экстазов, несчетных и тошнотворных чудес, которые с неизбежностью подразумевает картина совершенного, сфабрикованного мира. Кампанелла с умилительной дотошностью перечисляет жителей своего Солнцеграда, не знающих «подагры, ревматизма, катаров, ишиаса, колик, водянки, газов в кишечнике…». У солнцеградцев всего в избытке, «ведь каждый здесь стремится к совершенству в том, что делает. Отличившийся в чем-то зовется Правителем… Женщины и мужчины, объединенные в группы, предаются труду, ни в чем не отступая от приказа своих Правителей и никогда не выглядя усталыми, как это бывает у нас. Они видят в своих вождях отцов или старших братьев». Сколько подобных пошлостей в любом образце утопического жанра, особенно у Кабе, Фурье, Морриса, где нет даже щепотки соли, без которой не бывает искусства, хоть словесного, хоть любого иного.

Чтобы всерьез возводить подлинную утопию, с убежденностью живописать картину идеального общества, нужна, что ни говорите, известная доза простодушия (то бишь глуповатости). А она колет глаз и рано или поздно начинает раздражать читателя. Единственные нескучные утопии – пародийные. Написанные для игры, ради развлечения или в приступе мизантропии, они либо предвосхищают, либо вызывают в памяти «Путешествия Гулливера», эту Библию разочарованных, квинтэссенцию видений трезвого ума, утопию без надежды. Свифтовские сарказмы лишили жанр невинности, и хорошо, если не уничтожили его вовсе.

Что проще смастерить: утопию или апокалипсис? У них разные правила, разные шаблоны. Первая – ее трафареты ближе нашим глубинным инстинктам – положила начало утопической словесности, которая оказалась бы необозримой, не будь второго. Не каждый готов ставить на мировую катастрофу, не всем близки язык и манера тех, кто ее возвещает и афиширует. Но поклонники и фанатики жанра не без извращенного удовлетворения читают евангельские пассажи и клише, пригодившиеся потом на Патмосе: «…Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба… восплачутся все племена земные… не прейдет род сей, как все сие будет». Предчувствие небывалого, предвосхищение коренного перелома, эпохальное ожидание могут обернуться либо миражем (и надеждой на рай, земной или небесный), либо тревогой, и тогда перед нами образ идеального Зла, притягательного и отталкивающего катаклизма.

«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Все эти ужасы,

разумеется, условность, прием. Иоанн Богослов не мог не прибегнуть к ним, решившись на свою блистательную тарабарщину, парад катастроф, который, впрочем, куда предпочтительней бесконечных островов и городов, где читателя душат безликим счастьем, где вас затягивают и перемалывают жернова «всемирной гармонии». Мечты утопистов рано или поздно сбываются, но в умах других. То, что для них было совершенством, для нас превращается в изъян, их химеры становятся нашими бедами. Тип общества, рисовавшийся им в самых возвышенных тонах, для нас, в ежедневном употреблении, непереносим. Взять хотя бы этот отрывок из «Путешествия в Икарию»: «Две с половиной тысячи женщин-модисток трудятся в ателье, одни сидя, другие стоя, почти все – приятные на вид… Поскольку каждая делает только свою деталь, это вдвое убыстряет работу и повышает качество. Самые элегантные головные уборы выходят из рук прелестных мастериц тысячами за утро…». Можно, конечно, признать подобные благоглупости плодами слабоумия или дурного вкуса. Но физические детали Кабе, что ни говори, разглядел верно, а ошибся в другом – в сути. Нимало не подозревая о зазоре между существованием и производством (человек по-настоящему живет лишь помимо того, что делает, за пределами своих поступков), Кабе не сумел увидеть роковую силу принуждения, которое неотделимо от всякого труда, будь он ремесленным, промышленным или любым другим. Что больше всего поражает в утопической литературе, так это отсутствие психологического нюха, обыкновенного чутья. Ее герои – автоматы, игрушки, символы: они всегда неправдоподобны, всегда послушно исполняют роль куклы, идеи, затерянной в безликом мире. Кто в утопиях абсолютно неузнаваем, так это дети. В социетарном государстве Фурье они до того невинны, что им и в голову не приходит взять что-нибудь чужое, «сорвать яблоко с ветки». Но ребенок, который не воровал, – это не ребенок. Так стоит ли придумывать общество, состоящее из марионеток? По-моему, лучшего рвотного, чем описание Фаланстера, не найти.

В противоположность Ларошфуко, изобретатель утопий – это моралист, видящий в людях одно бескорыстие, самопожертвование, самозабвение. Лишенные плоти и крови, безупречные и никакие, растоптанные общественным Благом, свободные от изъянов и пороков, объемов и контуров, знать не знающие о реальной жизни, об искусстве краснеть за самого себя, изощряться в самообвинениях и самомучительстве, они не подозревают об удовольствии, которое приносят человеку горести ему подобных, о нетерпении, с каким он предвкушает и торопит их провал. Кстати, эти удовольствие и нетерпение могут идти от вполне доброкачественного любопытства и никакой дьявольщины в себе не заключать. Набирая общественный вес, добиваясь процветания, двигаясь вперед, человек не знает, каков он на самом деле. Ведь поднимаясь выше и выше, он все дальше от самого себя, все острей чувствует свою пустоту, выморочность. Именно поэтому понимать себя начинаешь, только пережив провал, постигнув невозможность успеха ни в одном из человеческих предприятий: крах раскрывает глаза, лишь теперь ты становишься хозяином самому себе, порывая с привычной толстокожестью прочих. Чтобы в полную силу пережить собственное или чужое банкротство, нужно узнать беду, а если потребуется – даже окунуться в нее с головой; но как это сделать в городах и на островах, где подобное начисто исключено по высшим государственным соображениям? Сумерки здесь запрещены, дозволяется только свет. Никакого раздвоения: утопия как таковая противостоит манихейству. Враждебная всякому отклонению, всему бесформенному, всему выбивающемуся из ряда, утопия укрепляет однородное, типичное, повторяющееся, правильное. Но жизнь – это взрыв, ересь, нарушение физических норм. Тем более человек: если соотносить его с жизнью, он – ересь в квадрате, победа индивидуальности, прихоти, явление возмутительное, существо, несущее раскол. Общество, эта совокупность до поры до времени спящих чудовищ, стремится наставить человека на истинный путь. А он, еретик по природе, чудовище уже разбуженное, воплощенный одиночка, нарушитель мирового порядка, находит удовольствие в своей исключительности, несет тяжкое бремя привилегий, расплачиваясь за превосходство над себе подобными собственной недолговечностью. Чем резче он выделяется, тем он

опасней и уязвимее разом, ценой своей жизни возмущая покой других и утверждая в самом центре города устав изгнанника.

«Наши надежды на будущее государственное устройство рода человеческого можно свести к трем главным пунктам: уничтожение неравенства между разными государствами, развитие равенства в каждом отдельном государстве и, наконец, усовершенствование человека» (Кондорсе). Описывая лишь реально существовавшие города, история, везде и во всем видящая скорее крах, чем исполнение наших надежд, увы, не узаконила ни одного из этих ожиданий. Для Тацитов не существует идеального Рима.

Устраняя все неразумное и непоправимое, утопия противостоит трагедии – вершине и квинтэссенции истории. В совершенном городе не будет конфликтов; воля каждого подчинится, утихомирится и каким-то чудом сольется с волей остальных; воцарится полное единение, без самомалейших неожиданностей или противоречий. Утопия – это смесь ребяческой рассудительности с обмирщенным ангелоподобием.

Человечество тонет во зле. Мы не просто совершаем злые поступки, но и, делая порой добро, мучимся, поскольку пошли наперекор собственной воле: не зря добродетельная жизнь требует покаяния, умерщвления плоти. Обращенный в демиурга падший ангел, Сатана, получив во владение землю, кичится перед лицом Бога и чувствует себя здесь, внизу, куда вольнее и могущественней, чем Господь. Если ограничить мир человеком, то Сатана – не захватчик его, а хозяин, полноправный суверен, восторжествовавший над Всевышним. Наберемся же смелости признать, в чьих мы руках.

Великие религии на сей счет не заблуждались. Мара предлагает Будде, Ахриман Зороастру, а Искуситель Иисусу именно землю и господство надо всем земным, которым Князь мира владеет безраздельно. Пытаться утвердить на земле новое царство, всеобщую утопию или мировую империю – значит ввязаться в игру Сатаны, включиться в дьявольский замысел и довести его до конца: чего он хочет больше всего, так это втянуть нас в участие и тем самым увести от света, от сожаления о счастье, потерянном навсегда.

Запертый в течение пяти тысячелетий рай, по Святому Иоанну Златоусту, снова открыл свои врата, когда Иисус испустил дух на кресте. В сопровождении наконец-то вернувшегося Адама туда был впущен разбойник и узкий круг праведников, прозябавших до того в аду, ожидая, когда пробьет «час искупления».

Судя по всему, потом его снова заперли – и надолго. Взять Царство небесное силой невозможно. Горстка блаженствующих избранников, понятно, забаррикадировалась, использовав опыт, прелестям которого вполне обучилась на земле. Вот он, наш рай, совсем как настоящий. Это о нем мы мечтаем в минуты глубочайшего уныния, в нем хотели бы раствориться. И вдруг внезапный рывок увлекает и переносит нас туда: неужели мы не хотели бы на минуту вернуть то, что навсегда утратили, исправить ошибку собственного рождения? Лучший ключ к метафизическому смыслу ностальгии – невозможность слиться со временем. Человек ищет утешения в далеком, незапамятном и недостижимом прошлом, еще до всякого становления. Мучающая при этом боль – действие первоначального разрыва – не дает перенести золотой век в будущее. По природе ностальгии ближе древнее, исконное; она стремится к нему не в поисках утехи, а для того, чтобы исчезнуть, сбросить ношу сознания. Она возвращается к истоку времен, чтобы найти настоящий рай, предмет своих сожалений. А земной рай, наоборот, свободен от всякого сожаления. Это перевернутая, ложная, ущербная ностальгия, обращенная к будущему и затушеванная «прогрессом», – опровержение времени, глумливая перелицовка первозданного рая. Зараза это или привычка, но такая перелицовка в конце концов порабощает каждого. Вольно или невольно мы начинаем полагаться на будущее, делаем из него панацею и, свыкшись с этим перерождением времени в иное время, видим в нем теперь бесконечную и вместе с тем завершенную длительность, некую вневременную историю. Перед нами противоречие в терминах, неразрывное с надеждами на новое царство, на победу несокрушимого над становящимся, причем в рамках того же становления. В основе наших грез о лучшем будущем – попросту слабость теории. Так надо ли удивляться, что для ее подкрепления

приходится прибегать к капитальнейшим парадоксам?

Пока все помыслы людей поглощало христианство, они оставались глухи к соблазнам утопий. А вот когда в христианстве начали разочаровываться, утопия пустилась завоевывать и обживать умы. Она принялась за дело уже в период Ренессанса, но победить смогла лишь двумя веками позднее, в эпоху «просвещения» предрассудков. Тогда и родилось Будущее – образ неукоснительного счастья, рая по указке, где нет места случаю, а в любой фантазии видят ересь или вызов. Описывать его – значит углубляться в подробности невообразимого. Сама мысль об идеальном городе – сущая пытка для разума, предприятие во славу сердца и в посрамление рассудка. (Как мог Платон опуститься до таких вещей? Ведь именно он – сколько ни отгоняй от себя эту мысль – стоял у истока подобных извращений, подхваченных и удесятеренных потом отцом-основателем современных иллюзий Томасом Мором.) Сооружать общество, где каждый твой шаг учтен и упорядочен по чудовищному ранжиру, где из доведенной до неприличия милости к ближним следишь даже за собственными задними мыслями, – да это значит переносить в золотой век все муки ада, строить дом призрения при пособничестве Сатаны. Безобразные имена солнцеградцев, утопийцев, гармонийцев под стать их судьбе, обетованному кошмару, поджидающему и нас, поскольку подобный идеал – наших рук дело.

Прославляя достоинства трудовой жизни, утопии неизбежно противостоят Книге Бытия. В этом узком смысле они – автопортрет человечества, с головой ушедшего в работу и с удовольствием, даже со спесью принявшего последствия грехопадения, тягчайшим среди которых остается неотвязный труд. Мы с гордостью и хвастовством несем на себе стигматы человеческого рода, который дорожит «потом лица своего», который превращает его в знак отличия и который суетится и мается, находя в этом радость. Отсюда – тот ужас, который нам, проклятым, внушают избранные, отказавшиеся гнуть спину и добиваться превосходства в своем деле. Этот отказ, за который мы укоряем отступника, может быть, делает его единственным, кто еще хранит воспоминание о незапамятном счастье. Чужой среди себе подобных, он такой же, как мы, и все-таки не в силах слиться с нами. С какой-то явной для него одного стороны он чувствует себя нездешним; во всем окружающем ему чудится посягательство на его «я» – взять хотя бы имя… Любое его начинание ждет провал, он хватается то за одно, то за другое, по-настоящему не веря в эти призрачные подделки, от которых его отвращает явственный образ иного мира. Чтобы изгнанник из рая не томился и не мучился, он получает взамен способность хотеть, стремиться к действию, бросаться в него с жаром, забывая себя. А что делать, за что уцепиться отсутствующему с его отчуждением, его выходящей уже за всякие границы расслабленностью? Из отрешенного состояния его не выведет ничто. Но и ему не избегнуть общего проклятья: он тоже истощает свои силы, расходуя на сожаление не меньше энергии, чем мы на свои подвиги.

Провозгласив, что Царство Божие не «здесь» и не «там», а внутри нас, Христос заранее отверг все утопические постройки, для которых любое «царство» всегда вовне и не связано ни с нашим подспудным «я», ни с индивидуальным спасением каждого. Но мы настолько срослись с подобными мыслями, что ждем освобождения только со стороны, от хода вещей или развития общества. Отсюда потребность в Смысле истории, мода на который вытеснила прежний Прогресс, ничего не изменив, по сути. Тем не менее стоило бы сдать в утиль если не само это понятие, то по крайней мере одну из его словесных формулировок, которой слишком злоупотребляют. Не прибегая к синонимам, нового шага в идеологии не сделать.

Идея совершенства, как ее ни переодевай, вошла в каждого: под ней подписывается даже тот, кто ставит ее под вопрос. С тем, что прямого продолжения в истории не существует, что она вовсе не движется заданным курсом к определенной цели, в наше время не согласится никто. «У Истории есть цель, к которой она стремится, которую она содержит в себе как возможность» – вот что провозглашают наши желания и учения в один голос. Чем больше идея обещает на завтра, тем скорее она победит сегодня. Не способные найти Царство Божие в себе самих или, скорее, слишком испорченные, чтобы подобным поискам предаваться, христиане перенесли его в будущее: исказили смысл преподанного

урока, зато застраховали себя от неудач. Но и Христос допускал тут известную двойственность. С одной стороны, он, парируя нападки фарисеев, ратовал за царство внутри нас, неподвластное времени, а с другой – предсказывал ученикам, что спасение близко и что они вместе с нынешним «родом» увидят гибель этого мира. Понимая, что смертные видят в ореоле мученика химеру, а не истину, он снисходил к их слабости – иначе под угрозой оказывалось все предприятие. Но то, что было для него уступкой и тактикой, для утопистов стало постулатом и страстью.

Решительный шаг вперед был сделан в тот день, когда человечество поняло: чтобы как следует тиранить других, нужно организоваться, объединиться в общество. До той поры, если верить утопистам, это удавалось лишь отчасти. Утопии предложили здесь свою помощь, обеспечивая людей планом того, как достичь абсолютного счастья. В качестве платы требовалось одно: отказаться от свободы или, если она все-таки сохранялась, пользоваться ею лишь для изъявлений радости под пытками, каким наперебой подвергали себя утопийцы. Видимо, в этом и состоит смысл дьявольской заботы, которой окружен человек в утопиях. Как тут не вывернуть утопию наизнанку – как не отказаться от ничтожных благ и несчетных зол любого социального порядка? Соблазнительная мысль, непобедимое искушение. Что за гигантское сборище уродств – нет ли способа с ним покончить? Как пригодился бы здесь какой-нибудь всеобщий растворитель из тех, что искали алхимики и чье действие стоило бы опробовать не на металлах, а на человеческих установлениях. А пока нужного средства не найдено, между делом отметим, что во всем положительном алхимия и утопия близки: мечтая о похожей, если вообще не об одной и той же, трансмутации в разных областях, первая подкапывается под неуничтожимое в природе, вторая – в истории. Идеи жизненного эликсира и совершенного города питаются одним умственным изъяном или, если угодно, одной надеждой.

Чтобы выделиться среди других народов, чтобы унизить и растоптать их или просто чтобы найти свое неповторимое лицо, народу нужна безумная идея, которая его ведет, ставит перед ним цели, несоизмеримые с любыми реальными возможностями. Точно так же и общество: оно развивается и упрочивается, только если ему подсказывают либо внушают идеалы, абсолютно непропорциональные нынешнему состоянию. Утопии для общества – то же, что предназначение для народа. А идеологии – побочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний.

Сама по себе идеология ни хороша, ни плоха. Все зависит от того, в какой момент ее усваивают. Скажем, на окрепшую страну коммунистическое учение действует как стимулятор: толкает вперед, способствует расширению. Но, если страна подточена, коммунистическое влияние может оказаться не столь благоприятным…

Задумаемся над воздействием раннего христианства. Античному обществу оно нанесло смертельный удар, парализовало его, довело до гибели. Для варваров же, наоборот, стало благословением, обострив на первое время их природные инстинкты. Не возродив одряхлевшего мира, оно возродило только возродившихся. Таково и коммунистическое учение: напрямую оно спасает лишь тех, кто и так спасен. Но оно не в силах дать твердую надежду умирающим, а еще меньше – вернуть к жизни умерших.

Разоблачив нелепости утопий, обратимся к их достоинствам.

Поскольку человечество так прижилось в обществе и государстве, что почти не замечает их прирожденного зла, последуем за ним, присоединимся к невменяемым.

Утопии – и тут их роль вряд ли можно переоценить – показали весь вред собственности, весь ужас, который она воплощает, все беды, которые несет с собой. Мелкий или крупный, каждый собственник развращен, раз и навсегда испорчен. Он бросает тень на любую мелочь, которую тронул и присвоил. Когда угрожают его «достатку», когда его обирают, сознание собственника работает с такой остротой, на какую в нормальной обстановке оно не способно. Чтобы вернуть ему человеческий облик, так называемую душу, его надо разорить, надо, чтобы он признал свое разорение. На помощь приходит революция.

Возвращая к первобытной наготе, революция, по сиюминутным понятиям, уничтожает

собственника. Но по абсолютным меркам она его спасает, освобождая – речь, понятно, о внутреннем освобождении – именно тех, на кого в первую очередь и обрушивается: имущих. Революция их деклассирует, иными словами – возвращает на прежний уровень, к тем ценностям, от которых они отступились. Но даже не обратившись еще в орудие или причину возмездия, революция зароняет в них спасительный страх. Она бередит их сон, питает кошмары, а ведь кошмар – начальная точка метафизического пробуждения. И разрушительное воздействие революции – залог ее пользы. При всех злосчастьях, ее оправдание в одном: только у нее есть в запасе ужас, способный потрясти самый бесчеловечный из возможных миров – мир собственников. Любая форма обладания – давайте не побоимся это признать – унижает и портит человека, потакая чудовищу, дремлющему в каждом. Владеть хотя бы простой шваброй, считать что бы то ни было своим достоянием – значит соучаствовать в общем бесчестье. И напротив: сколько достоинства в сознании, что у тебя ничего нет! Какое освобождение! Только что ты считал себя последним из людей и вдруг, потрясенный, как будто прозревший, больше не мучишься, напротив – гордишься. И единственное, чего ты, пожалуй, еще хотел бы, так это разориться совсем, дотла, как святой или сумасшедший.

Устав от традиционных ценностей, с неизбежностью обращаются к идеологии, которая не оставляет от них камня на камне. Секрет ее притягательности – в силе отрицания, а не в утвердительных формулировках. Призывая к подрыву общественного порядка, коммунистическая мысль указывает выход из кризиса. Так обстоит дело сегодня, так было вчера, так будет завтра. С эпохи Ренессанса повторяется одна и та же история: кажется, что умы привлекает либерализм, а по сути их влечет коммунизм. Он вовсе не продукт уникальных обстоятельств, не историческая случайность. Он наследник утопических систем прошлого, по-хозяйски присваивающий плоды многовекового скрытого труда. Когда-то прихоть и ересь, со временем он приобрел черты самой судьбы, единоспасающего учения. С тех пор для сознания существуют лишь две формы бунта: коммунистический и антикоммунистический. Но неужели кто-то не видит, что антикоммунизм дышит той же яростной, ужасающей верой в будущее коммунизма?

Когда приходит час идеологии, все, даже ее враги, работают на ее успех. Никакая полемика, никакая полиция не в силах сдержать ее натиск, отсрочить победу. Она ищет любую возможность – и обладает силой! – реализоваться, воплотиться в жизнь. Но чем большего она добивается, тем скорее рискует истощить силы. Упрочиваясь, она лишается идеального смысла, иссушает свои истоки, чтобы рано или поздно, обманув надежды на спасение, которыми питалась, выродиться в болтовню и обратиться огородным пугалом.

Срок, отпущенный коммунистической идее, зависит от скорости, с какой она израсходует свои утопические запасы. Но, пока они есть, коммунизм неизбежно будет соблазнять общества, которые его еще не пережили. Отступая в одном, выигрывая в другом, наделенный добродетелями, которых нет у идеологий-соперниц, он обойдет весь земной шар, замещая умершие или ослабевшие религии и на каждом углу суля нынешним толпам достойный их ничтожества абсолют.

Сам по себе он выглядит единственной реальностью, на которую еще может положиться всякий, кто сохранил хоть соломинку веры в будущее, – вот почему мы все в той или иной степени коммунисты… Но разве человечество не впадает в пустые абстракции, когда судит то или иное учение, забывая об уродствах, неотрывных от его воплощения в жизнь? Человек всегда надеется на торжество справедливости. Ради ее триумфа он готов пожертвовать даже свободой, о которой потом горько пожалеет. За что бы он ни взялся, любое дело, любая мысль неминуемо ведут его в тупик, как будто тупик не предел пути, а его отправная точка, условие, разгадка. Ни одна новая форма общественного устройства не способна даже на самое простое – сохранить преимущества старой, – и примерно одну и ту же сумму неудобств встретишь в обществе любого типа. Проклятое равновесие, неизлечимый застой, от которого страдают и отдельные люди, и целые общественные группы! Теории бессильны: глубины истории непроницаемы для доктрин, задевающих лишь

ее поверхность.

Если утопия – это материализованная иллюзия, то коммунизм – иллюзия еще и навязанная, принудительная, вызов, брошенный вездесущему злу, оптимизм поневоле. К нему вряд ли приспособится искушенный и зрелый ум, который опьяняет лишь одно – разочарование, или тот, кому по примеру составителя Книги Бытия претит связывать золотой век с идеей развития. Не то чтобы он презирал маньяков, бредящих «бесконечным прогрессом» и прилагающих все силы, чтобы водворить справедливость на земле. Но он, к своему несчастью, знает: справедливость – это воплощенная несбыточность, гигантская неосуществимость, единственный идеал, о котором можно уверенно утверждать, что он не реализуется нигде и никогда, и которому, кажется, противостоят все законы природы и общества.

Подобные противоречия и конфликты – вовсе не удел одиночек. С той или иной остротой их переживает каждый: кто среди нас не мечтал разрушить нынешнее общество, зная при этом, сколько разочарований готовит ему будущее? Всеобщее, пусть даже бесполезное, потрясение, революция без веры – вот все, на что еще осталось надеяться в эпоху, когда ни у кого не хватает простодушия, чтобы стать настоящим революционером. Тот, кто, жертвуя неистовством разума, отдается неистовству хаоса, поступает как собравшийся с силами одержимый, как победивший болезнь безумец или как бог, который в приступе трезвой ярости с удовлетворением пускает на ветер и свое порождение, и собственное бытие.



***Поклонение Богу и Агнцу. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Отныне наши мечты о будущем неотделимы от страхов. Вначале утопическая словесность ополчалась на Средневековье, на тогдашний пиетет перед адом и пристрастие к картинам светопреставленья. Успокоительные системы Кампанеллы и Мора ставили, можно сказать, одну цель – дискредитировать видения Святой Хильдегарды. Свыкшись с ужасным, мы переживаем сегодня сращение утопии с апокалипсисом. Обетованный «новый мир» все больше напоминает новый ад. Но мы с нетерпением ждем этого ада и даже считаем своим долгом поторапливать его приход. Два жанра, казавшихся противоположными, – утопия и апокалипсис – смешиваются, окрашивают друг друга,

образуя третий, замечательно приспособленный отражать ту разновидность реальности, которая нам грозит и которой мы тем не менее говорим «да», твердое и трезвое «да». Такова наша единственная возможность сохранить безупречность перед лицом рока.

## Час закрытия

*В садах Запада пробил час закрытия.*
**Сирил Коннолли**

Гностическая легенда рассказывает о битве ангелов, в которой воинство архангела Михаила победило воинство Змия. Те же ангелы, что лишь нерешительно наблюдали, были сосланы сюда, на землю, чтобы сделать выбор, который не сделали на небе, и выбирать им тем труднее, что у них не сохранилось ни малейшего воспоминания ни о сражении, ни о своем малодушии. Таким образом, выходит, что побудительной причиной истории послужило колебание, а человек появился в результате первородного сомнения и неспособности занять определенную позицию до изгнания. Сброшенный в этот мир, чтобы научиться выбирать, он обречен на деятельность, на поступки и сможет выполнить это предназначение, только если подавит в себе созерцателя. Если на небе нейтральность в какой-то мере еще была возможна, то земная история стала наказанием существам, которые до воплощения не сочли нужным примкнуть к тому или иному лагерю. Тогда становится понятно, почему смертные так стремятся очертя голову принять чью-либо сторону, так склонны сбиваться в группы, собираться вокруг какой-нибудь истины. Какова же эта истина?

В позднем буддизме, в частности в школе мадхьямика, существует отчетливое различие между истиной подлинной, или парамартой, достоянием свободных душ, и обыденной, или самврити, «замутненной», точнее «ошибочной», уделом или проклятием скованных.

Абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины, – привилегия пассивности, привилегия тех, кто сознательно устранился из сферы действий и озабочен лишь одним – выпадением (мгновенным или постепенным) из действительности, которое не сопряжено ни с каким огорчением, ибо переход в нереальность, напротив, приносит несказанное блаженство. История для такого человека всего лишь дурной сон, с которым он смиряется, поскольку никто не может видеть сны по собственному произволению.

Чтобы уяснить, в чем смысл исторического процесса, или, вернее, уяснить, как мало в нем смысла, нужно согласиться с той очевидностью, что все выдвигаемые им истины ошибочны, а ошибочны они потому, что приписывают содержательность пустоте, выдают мнимое за вещественное. Теория о двух истинах устанавливает место истории, этого рая лунатиков, этого грандиозного наваждения, в ряду других фикций. Строго говоря, нельзя сказать, что в ней совсем нет сути и смысла, ибо ее смысл – обман, она и есть по сути своей обман, универсальное ослепляющее и облегчающее жизнь во времени средство.

Сарвакармафалатьяга… Когда-то, много лет тому назад, я написал большими буквами это волшебное слово на листе бумаги и приколол на стену у себя в комнате так, чтобы весь день иметь перед глазами. Оно провисело так несколько месяцев, пока я не снял его, заметив, что все больше поддаюсь его магическому звучанию и все меньше вспоминаю о содержании. Между тем оно означает безразличие к результату действия, и важность его такова, что у того, кто по-настоящему проникнется им, не останется больше никаких стремлений, потому что он достигнет единственно стоящей из всех крайностей – подлинной истины, отменяющей все остальные как пустышки. Впрочем, пуста и она сама, но в отличие от них эту пустоту сознает. Еще немного трезвости, еще шаг к пробуждению – и сделавший его окончательно станет призраком.

Когда прикоснешься к этой предельной истине, то неуютно чувствуешь себя в истории, где намешано множество истин ложных, одинаково напористых и, разумеется, одинаково

иллюзорных. Прозревшие, пробужденные неминуемо оказываются немощными и не могут участвовать в событиях, ибо заранее знают, что все это пустая суета. Столкновение двух истин полезно для отрезвления мысли, но губительно для деятельности. С него начинается крушение как отдельной личности, так и целой культуры или даже целого народа.

Пока пробуждение не наступило, мы проводим дни в беспечности, блаженстве, упоении. Когда же спадает пелена иллюзий, наступает пресыщение. Протрезвевшему от всего тошно; как всякий излечившийся фанатик, он больше не может выносить бремя химер, уродливых или симпатичных – все едино. Теперь он так далек от них, что не понимает, в силу какого помрачения мог ими прельститься. Когда-то благодаря им он преуспевал и утверждался. Ныне ему так же трудно представить себе прошлое, как и будущее. Он растратил впустую всю свою энергию, подобно одержимым бесом перемен народам, которые развиваются слишком быстро и, отбрасывая один идол за другим, в конце концов исчерпывают их запас. Еще Шаррон отмечал, что во Флоренции за десять лет происходило больше потрясений и смут, чем в Гризоне за пятьсот, и делал вывод, что жизнеспособно то общество, где дремлет дух.

Архаичные цивилизации потому просуществовали так долго, что не знали страсти к обновлению и смене мнимых ценностей. Когда же шкала меняется с каждым поколением, об исторической долговечности нечего и мечтать. Древняя Греция и современная Европа – примеры культур, обрекших себя на преждевременную смерть своей жаждой менять обличья и неумеренным потреблением богов и их заменителей. Китай же и Египет тысячелетиями млели в величественной косности. Как и африканские культуры до контакта с европейцами. Теперь эти культуры тоже под угрозой, потому что приспособились к чужому ритму. Утратив благотворную неподвижность, они все больше разгоняются и неизбежно придут к падению, как и образцы, которым они подражают, как и все скоротечные, неспособные протянуть больше десятка веков цивилизации. Народам, которые займут господствующее место в дальнейшем, достанется еще меньший срок: в истории замедленный темп всегда сменяется гонкой. Как не позавидовать фараонам и их китайским коллегам!

Установления, общества, цивилизации разнятся по масштабам и продолжительности существования, но все подчиняются общему закону, согласно которому источник неуемной энергии, которому они обязаны своим подъемом, со временем ослабевает и входит в рамки, а как только исступление, эта главная движущая сила, остывает, наступает упадок. По сравнению с буйными периодами роста закатная пора кажется нормальной, она и впрямь нормальна, даже чересчур, и это делает ее едва ли не столь же губительной.

Народ, достигший процветания, истративший все свои таланты и полностью истощивший свой гений, искупает этот успех бесплодием. Он выполнил свой долг и мечтает пожить спокойно, но, увы, этого-то ему не удается. Когда римляне – или их жалкие остатки – вознамерились отдохнуть, пришли в движение варвары. В учебниках, рассказывающих о нашествиях, говорится, что до середины V века германцы, служившие в армии и администрации империи, брали латинские имена. Ну а потом обязательными стали германские. Выдохшиеся господа, теснимые во всех областях, не внушали больше ни страха, ни почтения. Зачем было называться на их лад? «Повсюду царила убийственная сонная одурь», – писал Сальвиан, самый беспощадный обличитель античной культуры в последней стадии вырождения.

Как-то вечером в метро я внимательно огляделся по сторонам: все сплошь, включая меня самого, приезжие… Только двое или трое, судя по лицам, местные, они явно испытывали неловкость и словно извинялись за то, что затесались среди нас. Та же картина в Лондоне.

В наше время миграции происходят не как массовые переселения, а в виде постепенного проникновения: чужаки понемногу просачиваются в среду «коренных жителей», слишком анемичных и утонченных, чтобы опускаться до идеи «своей территории». Тысячу лет бдительно охранявшиеся двери распахнулись настежь… Когда подумаешь о долгих распрях между французами и англичанами, потом между французами

и немцами, кажется, что все они, взаимно выматывая друг друга, старательно приближали общий крах, чтобы уступить место другим представителям человечества. Новое Volkerwanderung (переселение народов), как и в древности, вызовет этническое смешение, все фазы которого пока не предугадать. Глядя на эти разномастные физиономии, нельзя и помыслить о сколько-нибудь однородном сообществе. Сама возможность такого пестрого сборища – признак того, что у коренных жителей того пространства, которое это сборище занимает, не было желания хоть в какой-то мере сберечь свою идентичность. В Риме в III веке н. э. только шестьдесят тысяч жителей из миллиона были латинского происхождения. Как только какой-нибудь народ доведет до конца историческую идею, воплощение которой входило в его миссию, ему становится незачем сохранять свою самобытность, свою характерную внешность в хаосе разноплеменных лиц.

Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим, уготована участь париев, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, последние белые люди, возможно, этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот стимул истории. Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает дальнейшее развитие. На свое счастье или несчастье – как посмотреть, – она насытилась. Честолюбец, глядя на нее, отчается, зато созерцатель с червоточинкой в душе придет в восторг. Только продвинувшиеся до опасной грани народы и интересны, особенно для тех, кто сам не слишком обласкан Временем и заигрывает с Клио из желания наказать себя, заняться самобичеванием. Впрочем, этой потребностью продиктованы чуть ли не все человеческие деяния как большие, так и малые. Каждый из нас работает против собственных интересов; мы этого не сознаем, пока вовлечены в дело сами, но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться – во все времена люди боролись и жертвовали собой ради пользы своего явного или потенциального врага: деятели Революции старались для Бонапарта, Бонапарт – для Бурбонов, Бурбоны – для Орлеанов… Так что же, история – это сплошное издевательство и у нее нет никакой цели? Есть, и не одна, а много, но она достигает их, двигаясь в противоположную сторону. Это явление универсальное. Мы достигаем обратного тому, к чему стремились; мы рвемся навстречу прекрасной лжи, которую сами себе выдумали. Вот откуда успех биографий, наименее скучного из несолидных жанров. Воля никогда никого не доводила до добра: обычно то, чего добиваются упорнее всего, ради чего идут на самые большие лишения, оказывается более чем сомнительным благом. Это верно для писателей, завоевателей – для всех, кого ни возьми. Конец любого из нас дает не меньше пищи для размышлений, чем конец целой империи или конец человека вообще, который так гордится своим с трудом приобретенным прямохождением и так боится вернуться в исходную точку: закончить эволюцию таким, каким начал – согнутым и заросшим шерстью. Над каждым существом нависает угроза деградировать до первоначального состояния (не говорит ли это о тщетности его да и любого развития?), если же кому-то удается этой угрозы избежать, то кажется, что он уклонился от выполнения долга, нарушил правила игры, из экстравагантности выбрав для себя другой способ падения.

Роль периодов упадка заключается в том, чтобы обнажить, разоблачить цивилизацию, разбить ее кумиры, избавить ее от привычки кичиться своими достижениями. Она получает таким образом возможность оценить свое прошлое и настоящее, увидеть бесплодность всех потрясений и усилий. И по мере отстранения от бредней, на которых основывалась ее слава, она все больше продвигается к осознанию реальности… к отрезвлению, к всеобщему пробуждению – словом, делает роковой скачок и вскоре вырывается из истории; либо иначе: она оттого и просыпается, что уже выпала из исторической колеи и потеряла лидерство. Итак, сначала слабеют инстинкты, затем просветляется сознание, затем утверждается трезвость, а это означает раскрепощение сферы духа и атрофию сферы деятельности, в частности деятельности в истории, которая замирает на отметке «крушение»: кто обратил взгляд на собственную историю, тот так и останется удрученным зрителем. Мы машинально

сопрягаем понятия «история» и «смысл», между тем это типичный пример ошибочной истины. Некий смысл в истории при желании можно найти, но этот смысл ставит под сомнение ее самое, отрицает ее в каждый ее момент, показывает ее смешной и жуткой, жалкой и грандиозной – словом, попирающей всякое представление о нравственности. Кто принял бы ее всерьез, не будь она прямой дорогой к гибели? Само то, что в обществе занялись историей, говорит о ее определенной стадии: как сказал Эрвин Райснер, историческое сознание есть симптом конца времен (Geschichtsbewusstsein ist Symptom der Endzeit). В самом деле, озабоченность историей приходит вместе с озабоченностью ее близким закатом. Богослов размышляет о жизни, провидя Страшный суд, человек, охваченный тревогой (или пророк) – провидя вещи менее эффектные, но столь же важные. Оба ждут катастрофы, подобной той, какую индейцы-делавары проецировали в прошлое: по преданию, в то время молились от ужаса не только люди, но и звери. Но, возразят мне, разве не бывает спокойных периодов? Бесспорно бывает, но это спокойствие всего лишь складный кошмар, безукоризненная пытка.

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто понятие трагического приложимо только к отдельной личности, а не к истории. Это отнюдь не так: история не просто подвластна трагедии, но и проникнута ею еще больше, чем судьба трагичнейшего из героев, и за ее перипетиями следят с пристальным вниманием. Мы так увлечены ею, потому что инстинктивно чувствуем, какие неожиданности подстерегают ее в пути и на какие неподражаемые фортели она способна. Правда, для искушенного ума она добавит не много нового к общей неразрешимости и безвыходности. Да ведь и трагедия ничего не разрешает, потому что разрешать нечего. Угадать будущее можно лишь по недоразумению. К сожалению, нам нестерпимо положение полной неопределенности. Едва же события хоть немного проясняются, как мы впадаем в крайний детерминизм, в буйный фатализм. Свободным произволением людей объясняется лишь поверхностный слой истории, обличья, которые она принимает, какие-то внешние завихрения, но не глубины, не настоящий ее ток, который, несмотря на ни что, остается таинственным и непостижимым. Мы до сих пор даемся диву, как это Ганнибал после битвы при Каннах не двинулся на Рим. Сделай он это, и сегодня мы бы гордо именовали себя потомками карфагенян. Конечно, глупо отвергать роль случая, прихоти, а значит, личности в истории. И все же каждый раз, когда оглядываешь всю картину, неизменно приходят на ум слова из «Махабхараты»: «Нельзя развязать узел Судьбы, ничто в этом мире не зависит от наших поступков».

Жертвы двойного обольщения, мечущиеся между двумя истинами, не в силах выбрать одну из них и тотчас не пожалеть о другой, мы слишком прозорливы, чтобы не утратить кураж, не остыть от иллюзий и от их потери. В этом смысле мы похожи на Рансе, оставшегося в плену у своего прошлого и посвятившего годы отшельничества полемике с теми, кого сам же покинул, или с авторами вздорных книжонок, где оспаривалась искренность его обращения и хулились все его дела, – вот доказательство того, что легче реформировать траппистский орден, чем отрешиться от времени. Точно так же легче легкого обличать историю и страшно трудно оторваться от нее: она окружает тебя и не дает о себе забыть. Она мешает окончательному прозрению, она – та преграда, которую можно перескочить, только осознав ничтожность всех событий, кроме одного-единственного – самого этого осознания, поскольку лишь оно позволяет нам хоть на миг увидеть подлинную правду, то есть одержать победу над всеми ошибочными. Недаром Моммзен говорил: «Историк обязан, подобно Богу, любить все и всех, даже самого дьявола». Другими словами, он должен отринуть все предпочтения и учиться полному самоустранению. Историк, сумевший встать вне времени, мог бы служить примером свободного человека.

Мы вынуждены выбирать между убийственной истиной и целительным враньем. И только такая не совместимая с жизнью истина достойна своего названия. Она выше того, чтобы отвечать каким-то требованиям, и не снисходит до уступок смертным. Такие истины «бесчеловечны», сногсшибательны, мы не приемлем их, ибо не можем обойтись без подпорок в виде догм или богов. Увы, во все времена именно иконоборцы или те, кто

объявлял себя таковыми, чаще всего прибегали к басням и лжи. Античный мир должен был заболеть уж очень тяжко, раз ему понадобилось такое грубое противоядие, как христианство. То же происходит и с современным миром, судя по всеобщей жажде чудодейственных лекарств. Эпикура, самого нефанатичного из мудрецов, не жаловали ни прежде, ни теперь. Призывы к освобождению Человека общество обычно встречает с недоумением и даже со страхом. Да и как рабы освободят Раба? Так можно ли верить, что история, эта бесконечная цепь заблуждений, способна тянуться еще долго? Час закрытия скоро пробьет во всех садах…

Конец истории предопределен тем, что у нее имелось начало; человек и история подчинены времени, человек и время отмечены одними и теми же стигматами.

Время есть некая непрерывная беспорядочность, самодробящаяся бесконечность, оно само по себе грандиозная драма, а история – ярчайший эпизод этой драмы. Не та же ли в ней беспорядочность, не то же ли бешеное дробление, лихорадочное стремление установить нечто там, где уже нечему установиться?

Христианские богословы справедливо именуют нашу эпоху постхристианской, точно так же наши далекие потомки будут когда-нибудь рассуждать о том, хорошо или плохо им живется в эпоху постисторическую. Что ни говори, а было бы любопытно окунуться в этот сумеречный опыт: смена поколений и череда грядущих «завтра» прекратится, а на руинах исторического времени наконец возникнет самодовлеющее бытие и снова станет тем, чем было, прежде чем погрязло в истории. Историческое время так напряжено, что попросту не может не взорваться. Вот-вот пружина лопнет – мы ощущаем это каждый миг. Возможно, это будет не так скоро, как нам кажется. Но катастрофа неизбежна, сомнений нет. И только после того, как она произойдет, уцелевшие счастливчики, жители постисторической эпохи, узнают, чем же была история. «Отныне никаких событий!» – воскликнут они. Таким вот образом завершится самая причудливая глава вселенской эпопеи.

Понятно, что возглас прозвучит, лишь если крушение окажется не окончательным. Полный же успех радикальным образом упростит проблему подавления будущего. Однако совершенные катастрофы крайне редки, говорю это, чтобы унять тех, кому неймется и кто любит размах, хотя в данном случае более пристало смирение. Не всем дано воочию наблюдать Потоп. Нетрудно представить себе, каково тем беднягам, которые его предчувствовали, но не дожили до того, чтобы увидеть своими глазами.

Чтобы положить конец распространению такого аномального животного, как человек, хороши все средства, и люди все больше ощущают необходимость и потребность заменить естественные бедствия еще более эффективными искусственными. Идея Светопреставления носится в воздухе. Чуть выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь – и сразу поймешь, что час близок, пусть даже до него осталось еще сто или тысяча лет. Тень близкой развязки придает своеобразный пафос самым обыденным делам, самым банальным зрелищам, самым глупым случайностям. Чтобы не заметить этого, надо упорно отворачиваться от Неизбежного.

Пока история протекает более или менее размеренно, каждое событие представляется причудой, коленцем в общем ходе вещей, но как только ритм сбивается, все обретает знаменательность. Во всем, что бы ни произошло, видится симптом, предупреждение, все побуждает к многозначительным выводам. В нейтральные (условно говоря) эпохи событие есть одно из многих рядовых проявлений настоящего, оно имеет автономное значение и словно бы выпадает из времени. Напротив, в критические времена, которые завихряются в бесконечные круги ада, каждая мелочь становится ступенькой к гибели, вписывается в картину, нарисованную в «Самматийяникайя»: «Мир охвачен пламенем, мир задыхается в дыму пожарищ, мир пылает и содрогается». Злорадное чудовище Мара держит когтями и зубами колесо рождения и смерти, во взгляде ее (на тибетских изображениях) то вожделение, та тяга ко злу, подспудная в природе, полуосознанная у людей и явная у богов, та ненасытная злая воля, разрушительное проявление которой мы видим в нескончаемой цепи событий и которую приписываем идолам. Ужас истории – единственное доступное нам

подобие ужаса перевоплощений. Однако с существенной оговоркой. Для буддиста переход от одного существования к другому – кошмар, из которого он стремится вырваться. На это направлены все его силы, он совершенно искренне, как величайшего бедствия, боится новых рождений и смертей, и ему чужда сама мысль тайно этим бедствием наслаждаться. Снисходительного отношения к злу, к подстерегающим извне и особенно изнутри опасностям в нем нет и быть не может.

Иное дело – мы. Мы заигрываем с тем, что нам угрожает, лелеем то, что сами прокляли, жаждем того, что для нас губительно, мы от своего кошмара ни за что не откажемся, мы надавали ему столько названий с большой буквы, сколько напридумали иллюзий. Иллюзии лопнули, большие буквы умалились, но кошмар остается, обезглавленный, голый, и мы продолжаем любить его, потому что он наш и нам нечем его заменить. Если бы стремящийся к нирване вдруг устал гоняться за ней, махнул на нее рукой и нырнул в сансару, став пособником собственной гибели, вот тогда он повел бы себя совсем как мы.

Человек делает историю, история же разделывается с человеком. Человек одновременно ее творец и объект, двигатель и жертва. До недавнего времени он полагал, что управляет ею, теперь же знает, что она ему неподвластна, что все бесчинно и неразрешимо в этой безумной эпопее, конец которой не означает достижения цели. Как и какую цель предписать ей? Да если бы она и была… Как только цель достигается, наступает конец процесса. Значит, осчастливлены будут только последние отпрыски человеческого рода, выжившие, оставшиеся, они одни пожнут плоды бесчисленных усилий и страданий предыдущих поколений. Но это откровенная несправедливость, гротеск. Кому позарез хочется, чтобы история имела смысл, пусть лучше ищет его в тяготеющем над нею проклятии и нигде более. В таком случае жизнь отдельного индивида осмысленна постольку, поскольку его тоже затрагивает это проклятие. Какой-то злокозненный демон распоряжается путями истории. Цели у нее нет, вместо этого над ней тяготеет рок, придающий ее ходу мнимую закономерность. Этот рок, и только он, позволяет всерьез говорить о логике истории и даже о провидении, правда несколько подозрительном, чьи замыслы не столь неисповедимы, как замыслы другого Провидения, слывущего благостным. Оно действует таким образом, что подведомственные ему цивилизации постоянно сбиваются с пути, идут не туда и наконец рушатся с упрямым постоянством, которое выдает происки темной глумливой силы.

История еще только начинается, думают некоторые, забывая, что история – исключительное и по сути своей недолговечное явление, этакая прихоть, передышка, оплошность… Участвуя в ней, питая ее, человек расточился, ослаб, истощился. Пока он оставался близок своей первоначальной, хотя и извращенной им природе, еще можно было рассчитывать на долгое существование, отвернувшись же и начав окончательно от этой природы отдаляться, он обрек себя на краткую, всего в каких-то несколько тысячелетий, жизнь. История, порожденная человеком, стала независимой от него, она язвит и мучит его, она его в конце концов и убьет. Человек погибнет с нею вместе, то будет полный крах, справедливое наказание за самонадеянность и безрассудство, порожденные его потугами сравниться с титанами. Предприятие Прометея с треском провалилось. Нарушив все неписаные законы – а только они и идут в расчет, – выйдя из всех положенных ему границ, человек вознесся слишком высоко и неминуемо возбудил ревность богов; они решили прикончить его и ждут с ножом за углом. Конец исторического процесса неотвратим, неизвестно только, грянет ли он в одночасье или растянется надолго. Судя по всему, человечество, несмотря на свои достижения, а вернее благодаря им, скатывается в пропасть. Если для каждой отдельной цивилизации сравнительно легко обозначить точку апогея, то совсем иначе обстоит дело с историческим процессом в целом. Что считать его вершиной? Где она располагается? В античной Греции, древней Индии или Китае? Или где-нибудь на Западе? Любой однозначный ответ заведомо пристрастен. Бесспорно одно: лучшее, что было в человеке, он уже отдал. И если предположить, что на наших глазах возникнут другие

цивилизации, они, конечно же, не будут равноценны ни древним, ни даже современным, а кроме того, и они неизбежно будут поражены жестко запрограммированным вирусом распада. Такова с доисторических времен до наших дней и впредь от нашего времени к постисторическому дорога к крушению, которое готовилось и предвиделось во все эпохи, включая самые процветающие. Все и всегда видели грядущее как дорогу к гибели, даже утописты: недаром государства, которые они придумывали, были намеренно извлечены из реальной истории и помещены в особый кокон, где время не течет и потому гибельное грядущее застыло. Но история, которой заправляет Ариман, затаптывает эти бредни и отметает всякую возможность рая, даже потерянного, делая, таким образом, утопии абсолютно беспочвенными. Весьма характерно, что мы наталкиваемся на понятие рая каждый раз, когда хотим уразуметь сущность истории. Дело в том, что только так, от противоположного, и можно ее постичь, ибо история не что иное, как последовательное отрицание, нарастающее удаление от исходного состояния, изначального чуда. Пусть оно всего лишь притягательная легенда, вызывающая ностальгию пошлость…



***Снятие седьмой печати, первые четыре трубы. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Когда движение к концу завершится, история достигнет своей «цели», и от первоначального состояния – не важно, правда это или вымысел – совсем ничего не останется. Если представить себе рай в прошлом еще возможно, то в будущем – никак; он мыслим не иначе как до истории, и это придает ей зловещий оттенок, так что задаешься вопросом: не лучше ли было ей остаться потенциальной возможностью?

Однако важнее размышлять не о «будущем» – оно внушает страх, но не более, – а о конце, то есть о том, что наступит после будущего, когда историческое время,

сопряженное с человеческой волей, прекратится и прекратит тем самым существование народов и империй. Останется освободившийся от бремени истории и совершенно обессиленный, уже не мнящий себя исключительным человек с опустошенным сознанием, которое нечем заполнить. Искушенный и разочарованный троглодит. Пойдет ли он путем далеких предков и станет ли в этом случае постисторическая эпоха усугубленным повторением доисторической? Каким будет этот человек, отброшенный всемирным катаклизмом назад, к пещерам? Как поведет себя тот, на ком замкнулись две разделенные огромным интервалом оконечности и кто отрекся от нажитого за это время наследства? Протрезвевший и одряхлевший, он не захочет и не сможет измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших. Тогда игра, по правилам которой до тех пор одна цивилизация сменяла другую, будет окончена.

После всех своих блестящих завоеваний и свершений человек начинает выходить из моды. Единственное, что еще может представлять интерес, это наблюдать за тем, как, прижатый к стенке, он агонизирует, и гадать, скоро ли задохнется совсем. До сих пор он еще как-то тянет только потому, что не хватает силы капитулировать, прекратить скатывание вперед (каковым по преимуществу является история): слишком велика инерция скольжения. Трудно сказать, что именно в человеке повреждено, но изъян очевиден. Можно возразить, что он был в нем с самого начала. Да, но тогда весьма незначительный для него, еще полного мощи. Ничего общего с нынешней зияющей трещиной. Она – результат долгого саморазрушения злосчастного существа, плод его подрывной деятельности, направленной сначала на все вокруг, а потом и само на себя. Выдавая войну против себя за гордое восстание, существо это расшатало собственные основы (именно к этому ведет анализ, психологический или любой другой) – основы своей личности, своей деятельности. Поражены сокровенные глубины, прогнило все до корней. Мы и ощущаем себя людьми не прежде, чем осознаем эту нутряную испорченность, до недавней поры еще как-то прикрытую, но обнажающуюся все больше и больше, по мере того как мы исследуем и взрываем все, что существовало в нас в скрытом виде. Став прозрачным для самого себя, человек окажется не способен более ни на какие действия, ни на какое «творчество». Прозрев, лишившись наивности, он полностью истощится. Где найти энергию, чтобы упорствовать в том, что требует хоть какой-то свежести и ослепления? И если относительно себя он порой может обольщаться, то относительно судьбы всего рода людского – ни в коей мере. Только глупец может утверждать, что человек еще в начале пути. На самом деле эта чудом держащаяся на ногах развалина бредет к последнему акту и там предстанет мудрецом, которого разъела мудрость. Да, человек – сплошное гноище, его гложет гангрена, и таковы мы все. Мы движемся гуртом к невиданной дотоле сваре, когда все набросятся друг на друга, как буйно помешанные, как взбесившиеся марионетки, потому что все станет невозможным, непереносимым, а единственным достойным делом для тех, кто останется жить, будет уничтожать себя и себе подобных. Одно лишь возбуждение еще доступно нам – агония перед кончиной мира. А потом – вечное оцепенение: роли сыграны, сцена опустела, и можно всласть пережевывать эпилог.

По известному выражению: что сегодня суета – когда-нибудь станет историей, и это не делает ей чести… Не стоило бы придавать значения всему текущему и происходящему, однако слабонервные на это не способны. Ну а в броне презрения откуда взяться живому переживанию? Настоящий историк – это человек без кожи, который носит маску объективности, страдает и упивается страданием. Вот почему он горячо участвует во всем, что описывает. Например, Тацит вовсе не с заоблачных высот взирал на ужасы, о которых рассказывал, нет, он осуждал, но смаковал их, варился в них, был ими заворожен. Без устали говоря о бесчинствах, он начинал скучать, едва несправедливость и злодейства шли на убыль. Ему, как позднее Сен-Симону, были ведомы восторг негодования, сладость ярости. Юм утверждал, что Тацит – самый глубокий ум античности, самый, добавим от себя, живой и самый близкий к нам своим мазохистским духом, этим то ли пороком, то ли необходимым свойством всякого, кто вглядывается в дела человеческие, будь то хроника дня или конец

света.

Внимательно рассматривая самое незначительное происшествие, легко заметить, что положительные и отрицательные стороны в нем самое большее уравновешивают друг друга, обычно же отрицательных – куда больше. Лучше всего было бы, если бы оно вообще не имело места. В таком случае мы избавились бы от необходимости терпеть его и принимать в нем участие. Чего же ради добавлять к тому, что уже имеется или имеет видимость? Истории, этой бессмысленной одиссее, нет оправданий, а порой возникает искушение замахнуться и на искусство, какой бы настоятельной потребности оно ни отвечало. Ведь творческий импульс в нем – нечто побочное, главное же – разобраться в себе, проявить себя максимальным образом, какой бы ни была форма этого самовыражения. Возводить соборы так же нелепо, как устраивать побоища. Было бы лучше попытаться жить вглубь, чем нестись сквозь столетия в погоне за гибелью. Нет, решительно в истории нет спасения. Ее никоим образом нельзя считать основным измерением человечества, она лишь апофеоз того, что на виду. Так, может быть, когда придет конец этой поверхностной авантюры, мы обретем первоначальную суть? Сможет ли располагающий полным досугом постисторичесий человек найти в себе вневременное содержание, которое было задушено в нас историей? Засчитываться будут исключительно те мгновения, которые она не затронула. Только среди людей, способных открыться навстречу таким мгновениям, возможно общение и понимание. Кульминационные точки, подлинные вершины прошлого – это эпохи метафизических исканий. Ближе всего к неуловимой сущности подступают внутренние прозрения, пусть они длятся порой секунду, зато перевешивают всю жизнь и вообще стоят больше, чем время.

«15 октября 1764 года в Риме, когда я, задумавшись, сидел на руинах Капитолия и слушал, как босоногие монахи поют вечерню в храме Юпитера, меня впервые осенила идея написать историю заката и падения этого города».

Все империи рано или поздно ждет конец – просто ли распад, катастрофа или то и другое вместе. Такие же варианты предстают перед человечеством в целом. Вообразим будущего Гиббона, размышляющего о том, чем оно было, если, конечно, останется еще какой-нибудь историк по завершении не одной, а всех эпох. Как сможет он описать нашу одержимость, буйные страсти – источник нашей энергии, – он, живущий среди совсем иных людей, которые погружены в святую инертность, дошли до последней стадии немыслимого процесса разрушения и навсегда освободились от маниакальных идей утверждать себя, оставлять после себя след, отмечать свое присутствие на земле? Как поймет нас, не способных усвоить статичную картину мира и сообразовываться с ней, отбросив навязчивую идею постоянно действовать? Нас губит – уже погубило! – стремление иметь судьбу, не важно какую; это извращение – движущая сила истории. Однако если оно уничтожило, умертвило нас, то оно же и спасет, поскольку с идеей судьбы сопрягается тяга к трагическому финалу, к верховному, превосходящему все бывшие прежде событию, величайшему, дотоле небывалому кошмару. Ну а коль скоро единственно возможной развязкой оказывается катастрофа, единственным выходом, единственным шансом – постистория (если допустить, что она достижима), то логично задаться вопросом: не лучше ли человечеству исчезнуть сейчас же, чем томиться и изводиться ожиданием и обрекать себя на переживание агонии, в которой ничего героического – даже героической кончины – не останется?

## Зрелище падения

…Нельзя исключить того, что в один прекрасный день какой-нибудь индивидуальный кризис станет всеобщим и будет иметь в таком случае не психологическое, а скорее историческое значение. Речь идет не о простой гипотезе; существуют знаки, которые следует уметь читать. Неузнаваемо исковеркав настоящую вечность, человек выпал во время, в котором ему удается если не процветать, то по крайней мере жить; и совершенно очевидно,

что он свыкся с этим. Этот процесс выпадения и приспособления и называется Историей.

Но вот ему угрожает еще одно падение, последствия которого пока трудно себе представить. На сей раз речь идет о том, чтобы выпасть не из вечности, а из времени; а выпасть из него – значит выпасть из истории, зависнуть где-то, погрузиться в угрюмую инертность, в полную стагнацию, где даже слова вязнут и не могут подняться до проклятий или мольбы. Трудно сказать, как скоро его следует ожидать, но падение это вполне возможно, а то и неизбежно. Когда оно произойдет, человек перестанет быть историческим животным. И тогда, потеряв даже воспоминание о подлинной вечности, о своем первом счастье, он обратит свой взгляд к иному, к временной вселенной, этому второму раю, из которого он тоже окажется изгнанным.

До тех пор пока мы остаемся внутри времени, мы окружены себе подобными, с которыми готовы соперничать; однако едва мы выпадаем из него, как все, что они делают, и все, что могут о нас подумать, уже не имеет никакого значения, потому что мы оказываемся настолько отчужденными от них и от самих себя, что творить что-либо или хотя бы помышлять об этом нам кажется делом праздным и излишним.

Бесчувственность по отношению к собственной судьбе – неотъемлемая черта того, кто выпал из времени и кто, по мере того как это состояние обостряется, становится неспособным как-либо проявлять себя и даже просто желать оставить что-то после. Следует признать, что время является нашей жизненной стихией; лишившись его, мы оказываемся без поддержки в полной ирреальности или кромешном аду. Или там и там одновременно, в неутолимой тоске по времени, с ощущением невозможности вернуться в него и вновь обустроиться в нем, с чувством неудовлетворенности при виде того, как оно протекает там, наверху, над нашими горестями и бедами. Потерять сразу и вечность, и время! Тягостно непрестанно думать об этой двойной утрате. Но это нормальное состояние, как бы официальное мироощущение человечества, выброшенного наконец из истории.

Человек восстает против богов и отрицает их, допуская их существование лишь в виде призраков; когда же он будет вышвырнут из недр времени, он до такой степени окажется далек от них, что не сохранит о них даже воспоминаний. И в наказание за свое забытье узнает, что такое полное поражение.

Тот, кто хочет стать чем-то большим, непременно станет меньшим. Душевную неуравновешенность, вызванную перенапряжением, сменит рано или поздно душевная неуравновешенность расслабления и нежелания и дальше напрягаться. Установив равновесие, следует идти дальше и признать, что в падении есть некая тайна. Павший не имеет ничего общего с неудачником; скорее он напоминает человека, получившего какой-то сверхъестественный удар, как если бы некая губительная сила ожесточилась против него и лишила его способностей.

Зрелище падения посильнее зрелища смерти; умирают все существа, но только человек призван пасть. Он искусственный нарост на жизни (как, впрочем, сама жизнь – на материи). Чем больше человек отдаляется от нее, либо возвышаясь, либо падая, тем ближе он к своему концу. И независимо от того, преображает он себя или уродует, он сбивается с пути. Нужно еще добавить, что не сбиться с пути он просто не мог, не изменив своей судьбе.

Хотеть означает постоянно держать себя в состоянии лихорадочного возбуждения. Всякое усилие утомляет, и нельзя сказать, что человек может долго выдерживать его. Полагать, что ему удастся сменить свой удел на удел сверхчеловека, – значит забыть, как трудно просто быть человеком, забыть, что это дается лишь максимальным напряжением воли и сил. Между тем воля, в которой присутствует какой-то подозрительный и пагубный принцип, оборачивается против тех, кто хочет слишком многого. Хотеть противоестественно или, точнее говоря, хотеть нужно ровно столько, сколько необходимо, чтобы жить, а когда человек хочет чего-то большего, рано или поздно у него все разлаживается и он терпит крах. Если отсутствие желаний – болезнь, то и само желание тоже болезнь, еще худшая; именно из-за нее и ее рецидивов – чаще, чем из-за отсутствия желаний, – происходят все несчастья. Но если даже в том положении, в котором человек находится, он хочет слишком многого, то

что было бы с ним, стань он сверхчеловеком? Несомненно, он сломался бы и рухнул. И тогда, сделав гигантский крюк, вынужден был бы выпасть из времени, то есть пробраться в вечность снизу, прибыть на назначенную ему конечную остановку, так что в результате не имеет значения, попадет он туда от истощения сил или в результате катастрофы.

## Часть 2. Россия и вирус свободы
## *(из книги Э. М. Сиорана «История и утопия». Перевод В. Никитина)*

### Имперская идея

Порой мне приходит на ум, что всем странам следует походить на Швейцарию и дряхлеть, подобно ей, находя удовольствие в гигиене, пошлости, законопоклонничестве и культе человека. С другой стороны, привлекают меня лишь нации, бесцеремонные в мыслях и поступках, лихорадочные и ненасытные, всегда готовые поглотить других и самих себя, попирающие ценности, которые мешают их восхождению и успеху, невосприимчивые к благоразумию, этому бичу старых народов, уставших от самих себя и всего остального и как бы радующихся тому, что от них пахнет затхлостью.

Точно так же, как бы ни тошнило меня от тиранов, я не могу не констатировать, что они являются основой истории и что без них невозможно представить себе ни идею империи, ни процесс развития последней. В высшей степени мерзкие, вдохновенно скотоподобные, они пробуждают мысль о человеке, дошедшем до крайностей, до последней степени гнусностей и достоинств. Если взять из них самого поражающего воображение, то Иван Грозный исчерпывает собой все случаи психопатологии. Одинаково сложный как в своем безумии, так и в своей политике; превративший свое царствование, а в известной степени и страну, в образец кошмара, в прообраз навязчивой и неиссякаемой галлюцинации, в смесь Монголии и Византии; совместив в себе достоинства и пороки хана и императора, этот монстр, впадавший то в бесовский гнев, то в омерзительную меланхолию, раздираемый между жаждой крови и охотой каяться, отличавшийся неподдельной жизнерадостностью и любовью к зубоскальству, переходящей в глумливость, он обладал страстью к преступлениям; страстью, присущей, кстати, нам всем, готовым покуситься и на других, и на самих себя. Только у нас эта страсть остается неутоленной, так что наша деятельность, какой бы она ни была, проистекает из нашей неспособности к убийству или самоубийству. Мы никогда в этом не сознаемся и сознательно отказываемся понять, как действует глубинный механизм наших слабостей. И если цари или римские императоры неотступно преследуют меня, то происходит это из-за того, что эти слабости, сокрытые у нас, у них предстают на всеобщее обозрение. Они открывают нам правду о нас самих, они воплощают и освещают наши тайны. Я думаю о тех из них, кто, будучи обреченными на полное вырождение, ожесточенно мучили ближних и из страха, что те могли бы их полюбить, отправляли на казнь. Сколь бы могущественны они ни были, они все же были несчастны, так как не могли насытиться содроганиями других. Не являются ли они как бы проекциями духа обитающего в нас злого гения, который убеждает нас, что лучше всего было бы создать вокруг себя вакуум? Именно такие мысли и инстинкты и формируют империи: к их созданию причастны недра сознания, где прячутся наиболее дорогие нам изъяны.

Возникая из глубин, о которых и не догадываешься, от какого-то изначального толчка, жажда властвовать над миром проявляется лишь у некоторых индивидов и в некоторые эпохи, никак не будучи связанной с достоинствами народа, который ее проявляет: разница между Наполеоном и Чингисханом меньше, нежели между первым из них и каким угодно французским политиком последовавших республик. Но как эти глубины, так и сам толчок могут иссякнуть, истощиться.

Карл Великий, Фридрих II Гогенштауфен, Карл V, Бонапарт, Гитлер пытались, каждый на свой лад, осуществить на практике идею всемирной империи. Все они с большим

или меньшим успехом провалились. Запад, где эта идея уже не возбуждает ничего, кроме иронии или неловкости, живет ныне, испытывая стыд за те завоевания. Но любопытно, что именно тогда, когда Запад уходит в себя, его идеи торжествуют и распространяются. Направленные против его могущества и превосходства, они находят отзвуки за его пределами. Запад побеждает, исчезая. Так Греция одержала победу в сфере духа, лишь перестав быть державой и даже нацией. У нее похитили философию и искусство, ее произведениям обеспечили победное шествие, однако ее гений перенять не смогли. Точно так же у Запада берут и будут брать все, кроме его гения. Цивилизация проявляет свою плодотворность благодаря способности побуждать других ей подражать. Как только она перестает их ослеплять, от нее остаются обрывки и ошметки.

Покинув этот уголок земного шара, имперская идея нашла свое провиденциальное воплощение в России, где, впрочем, она всегда существовала, но главным образом в духовном плане. После падения Византии Москва стала для православного сознания Третьим Римом, наследницей «подлинного» христианства, истинной веры. Это было первое пробуждение ее мессианства. Чтобы возникло второе, ей пришлось ожидать до наших дней. Но этим пробуждением на сей раз она обязана тем, что Запад сдал свои позиции. В XV веке Россия воспользовалась религиозным вакуумом, подобно тому как теперь извлекает выгоду из вакуума политического. Вот два основных случая, повлекших за собой осознание ею собственной исторической миссии.

Когда Мехмед III начал осаду Константинополя, христианские страны, как всегда разделенные и вдобавок предавшие забвению крестовые походы, воздержались от заступничества. Сначала осажденные почувствовали раздражение против Запада, затем, ввиду непреложности катастрофы, они впали в ступор. Испытывая то ли панику, то ли тайное удовлетворение, папа пообещал подкрепление, однако отправил его слишком поздно: какой толк спешить на помощь «схизматикам»? Тем временем «схизма» набирала силу в других краях. Выходит, Рим предпочел Византии Москву? Дальний враг всегда более по сердцу, нежели ближний. Подобно этому и в наши дни англосаксы предпочли русское влияние в Европе немецкому. Именно потому, что Германия была чересчур близко.

Претензии России на переход от неопределенного главенства к явной гегемонии не лишены оснований. Что сталось бы с западным миром, если бы Россия не остановила и не поглотила монгольское нашествие? В течение более чем двух столетий унижений и неволи она была вычеркнута из истории, тогда как на Западе народы предавались роскоши междоусобиц. Если бы она могла развиваться без препон, то стала бы державой первого порядка уже в начале Нового времени; в XVI или XVII веке она могла бы стать тем, чем сделалась теперь. Ну а Запад? Возможно, сегодня он был бы православным, а в Риме вместо Святого Престола располагался бы Святейший Синод. Но русские могут наверстать упущенное. Если им удастся, а все к этому идет, воплотить свои планы, то не исключено, что они рассчитаются с верховным понтификом. От имени марксизма ли, православия ли они призваны к тому, чтобы подорвать престиж и могущество той Церкви, чьим намерениям они противятся, видя в ней главное препятствие своим целям и задачам. При царе они уподобляли ее орудию Антихриста и молились против нее; теперь, рассматривая ее как оплот сатанинской реакции, они ее засыпают поношениями, немногим более действенными, нежели прежние анафемы, и вскоре навалятся на нее всей своей тяжестью и силой. И вполне возможно, что наше столетие будет числить среди своих диковинок некое подобие шутовского апокалипсиса – исчезновение последнего преемника святого Петра.

Обожествляя историю ради дискредитации Бога, марксизм преуспел лишь в том, что сделал Бога более далеким и более неотступным. В человеке можно подавить все, кроме потребности в Абсолюте, которая переживет и разрушение храмов, и даже исчезновение религии на земле. Поскольку у русского народа религиозная сущность, она неизбежно возьмет верх. Большой вклад в это внесут причины исторического порядка.

Принимая православие, Россия явила желание отделиться от Запада; таковым был способ ее изначального самоопределения. Никогда, за исключением аристократических

кругов, она не позволяла католическим миссионерам, в конкретном случае иезуитам, себя совратить. В схизме выражаются не столько расхождения доктрин, сколько воля к этническому самоутверждению: в ней обнаруживается скорее национальный рефлекс, нежели абстрактные противоречия. Церкви разделились не из-за смехотворного спора о филиокве: Византия желала абсолютной автономии, Москва – тем более. Схизмы и ереси – скрытые проявления национализма. Но если Реформация выглядела всего лишь семейной ссорой и скандалом в лоне Запада, то православный партикуляризм обнаружил большую глубину: он знаменовал отделение от всего западного мира. Отказавшись от католицизма, Россия замедлила темп своего развития, упустила глобальную возможность быстро цивилизоваться, выиграв в субстанциальности и единстве. Застой превратил ее в не похожую на другие, сделал ее иной. К этому-то она и стремилась, несомненно предчувствуя, что Запад в один прекрасный день пожалеет, что ее опередил.

Чем сильнее она будет становиться, тем больше будет осознавать собственные истоки, от которых в некоторой степени марксизм ее отдалил, но после навязанного ей лечения универсализмом она вновь русифицируется во благо православия. Впрочем, и на марксизм она наложила такой отпечаток, что как бы славянизировала его. Всякий народ, обладающий сколько-нибудь заметной масштабностью, принимая чуждую его традициям идеологию, ассимилирует и искажает ее, приспосабливает к своей национальной судьбе, ложно истолковывает ее себе на пользу вплоть до того, что делает ее составляющей собственного духа. Он обладает собственным, неизбежно деформирующим взглядом, дефектом зрения, который не только не приводит его в замешательство, но, напротив, льстит и придает ему новые силы. Истины, которыми он гордится, сколь бы ни были они лишены объективной ценности, не становятся от этого менее живучими и в качестве таковых производят ошибки такого рода, которые и формируют разнообразие исторического пейзажа, притом, само собой разумеется, что историк, будучи скептиком в силу своего ремесла, темперамента и личного выбора, изначально располагается за пределами Истины.



***Четыре ангела Смерти. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Между тем как западные народы слабели в борьбе за свободу, а еще больше – внутри этой обретенной свободы (ничто так не изнуряет, как обладание или же злоупотребление свободой), русский народ страдал, не растрачивая сил; ибо силы мы расходуем лишь в истории, а поскольку он был из истории вытеснен, ему хватило мочи вынести те безупречные системы деспотизма, которые ему навязали: смутное растительное существование позволило ему укрепиться, накопить энергию, собраться с силами и извлечь из своей неволи максимальную биологическую выгоду. В этом ему помогло православие, но православие народное, великолепно приспособленное к тому, чтобы держать народ

вне рамок текущих событий, тогда как официальное православие ориентировало власть в направлении империалистических целей. Таково двойное лицо Православной Церкви: с одной стороны, она усыпляла массы, с другой – будучи помощницей царей, пробуждала у них амбиции и сделала возможными гигантские завоевания, осуществляемые от имени пассивного народа. Счастливая пассивность обеспечила русским их нынешние выгодные позиции и является результатом запоздалого исторического развития. Все затеи Европы, будь они благоприятны или враждебны для русских, вращаются вокруг них. Коль скоро Европа ставит их в центр своих интересов и тревог, она признает их виртуальную власть. Так почти осуществилась одна из наиболее давних русских грез. То, что удалось им это сделать под водительством идеологии иностранного происхождения, лишь подчеркивает парадоксальность и пикантность их успеха. Но решающее значение имеет то, что сам режим является русским, полностью соответствующим российским традициям. Разве не показательно то, что русская революция, являющаяся прямым следствием западнических теорий, потом все более и более ориентировалась в направлении идей славянофилов? Впрочем, любой народ представляет собой не столько сумму идей и теорий, сколько совокупность наваждений. У русских, к какому бы кругу они ни принадлежали, эти наваждения были всегда если не идентичны, то, во всяком случае, родственны. Чаадаев, не находивший у русских никаких заслуг, или безжалостно высмеивавший свой народ Гоголь были столь же к нему привязаны, как и Достоевский. Образ России так же неотступно преследовал самого одержимого из нигилистов, Нечаева, как и махрового реакционера Победоносцева, прокурора Святейшего Синода. Лишь навязчивые идеи имеют значение. Остальное – всего лишь позиция.

## Никогда не получая свободы

Для того чтобы Россия согласилась на какой-нибудь либеральный режим, нужно, чтобы она существенно ослабла, чтобы ее жизненная сила сошла на нет или, еще лучше, чтобы она напрочь лишилась своего специфического характера и до основания денационализировалась. Как же ей – с ее непочатыми глубинными ресурсами и тысячелетним самодержавием – осуществить это? Если представить себе, что она добьется этого рывком, то она сразу же распадется. Для сохранения и расцвета многие нации нуждались в некоторой дозе террора. Даже Франция смогла пойти по демократическому пути лишь в ту пору, когда ее энергия начала ослабевать и когда, больше не стремясь к гегемонии, она оказалась способной стать респектабельной и благоразумной. Первая Империя была ее последним сумасбродством. Затем она открылась свободе и с трудом, после множества конвульсий, приобрела к ней привычку, в отличие от Англии, которая, представляя собой сбивающий с толку пример, приспособилась к свободе с давних пор, минуя потрясения и опасности, благодаря конформизму и просвещенной глупости ее обитателей (насколько мне известно, она не взрастила ни одного анархиста).

В конечном счете время благоприятствует порабощенным народам, которые, накапливая силы и иллюзии, живут надеждой на будущее. А чего можно ждать от свободы? Или от воплощающего ее режима, состоящего из недисциплинированности, самоуспокоенности и расслабленности? Чудо, которое не может ничего предложить, демократия представляет собой одновременно и рай, и могилу для народа. Жизнь только и обретает смысл через нее; но в ней самой жизни нет… Безотлагательное счастье, неотвратимая катастрофа, непрочность режима, приверженцем которого можно стать, лишь решив мучительную дилемму.

Более одаренная и более удачливая Россия не должна ставить перед собой такие проблемы, поскольку абсолютная власть для нее, как заметил еще Карамзин, – «сама основа ее бытия». Всегда стремиться к свободе, никогда не получая ее, – не в этом ли ее великое преимущество над западным миром, который, увы, давно уже свободы добился? Вдобавок она нисколько не стыдится собственной империи; напротив, она только и думает, что о ее

расширении. Кто с большим успехом, чем она, спешит воспользоваться достижениями других народов? Творению Петра Великого, так же как и Октябрьской революции, свойствен некий гениальный паразитизм. И даже ужасы татарского ига она вынесла изобретательно.

Если, постоянно замыкаясь в намеренной изоляции, она с успехом подражала Западу, то еще лучше ей удалось заставить собой восхищаться, очаровывая его мыслителей. Энциклопедисты увлекались затеями Петра и Екатерины совершенно так же, как наследники века Просвещения (я имею в виду левых) пристрастились к идеям Ленина и Сталина. Этот феномен свидетельствует в пользу России, но не европейцев, которые, дойдя до крайней степени усложненности и опустошенности, устремившись на поиски «прогресса» в другие края, за пределами самих себя и своих творений, парадоксальным образом оказались сегодня ближе, нежели сами русские, к персонажам Достоевского. Да и то надо уточнить, что они воскрешают в памяти лишь вырожденческие стороны этих персонажей, что у них нет ни их жестоких прихотей, ни мужественной злобы: это «одержимые», захиревшие от умствований и сомнений, подтачиваемые мелкими уколами совести и тысячью неразрешенных вопросов мученики сомнения, ослепленные и даже уничтоженные собственной растерянностью.

Любая цивилизация считает, что ее образ жизни является единственно здоровым и правильным, что она должна обратить мир в свою веру или навязать ее ему; для нее этот образ жизни равнозначен явной или скрытой сотериологии, учению о спасении через искупление, а по существу – некоему элегантному империализму, который перестает быть элегантным сразу, как только начинается военная авантюра. Только из каприза империю основать нельзя. Других порабощают ради того, чтобы они вам подражали, чтобы моделировали себя по вашим верованиям и привычкам; к этому еще присовокупляется извращенный императив превратить их в рабов, чтобы созерцать в них лестный или карикатурный образ самих себя. Я согласен с тем, что существует качественная иерархия империй: монголы и римляне порабощали народы не по одним и тем же причинам, а их завоевания привели не к одному и тому же результату. Тем не менее верно, что те и другие были одинаково опытны в том, как истреблять противника, переиначивая его по своему образу и подобию.

Россия никогда не удовлетворялась «мелкими» бедствиями, независимо от того, была она их причиной или жертвой. То же самое можно сказать и о будущем. Она навалится на Европу как физическая неотвратимость, всей инерцией собственной массы, своей избыточной и патологической жизненной силой, так благоприятствующей образованию империй (в которых обычно материализуется мегаломания конкретного народа), присущим ей здоровьем, полная неожиданностей, ужасов и загадок, призванная служить мессианской идее, этому зародышу и провозвестнику завоеваний. Когда славянофилы утверждали, что России предстоит спасти мир, они пользовались эвфемизмом: спасать, не покорив, практически невозможно. Что касается любого народа, то он либо находит принцип своей жизни в себе самом, либо вовсе его не находит: как может его спасти кто бы то ни было? Россия же, секуляризовав язык и концепцию славянофилов, по-прежнему считает, что именно она призвана обеспечить спасение мира и в первую очередь Запада, в отношении которого, впрочем, она никогда не испытывала определенного чувства, но лишь влечение, смешанное с отвращением и завистью (соединение тайного почитания и показного отвращения), навеянной зрелищем гниения, столь же завидного, сколь и опасного, до которого вроде бы хочется дотронуться, но лучше – бежать от него.

Русский, отказывающийся самоопределиться и принять некие ограничения, культивирующий двусмысленность в политике и морали и, что важнее, в географии; не обладающий наивностью, присущей «культурным» людям, которые становятся наивными из-за злоупотребления рационалистической традицией, будучи изощренным в силу как интуиции, так и многовекового опыта утаивания мыслей и чувств, возможно, является ребенком в историческом, но ни в коем случае не в психологическом смысле слова. Отсюда его сложность, сложность человека с молодыми инстинктами и старыми тайнами, а также

доведенная до гротеска противоречивость взглядов. Когда он внедряется в глубины (а это удается ему без усилий), он искажает все до малейшего факта и ничтожнейшей идеи. Можно подумать, что он страдает манией монументального лицемерия. В истории его идей, будь то революционных или каких-либо других, все головокружительно, страшно и непостижимо. К тому же он неисправимый любитель утопий; а ведь утопия – это гротеск в розовых тонах, потребность связывать счастье – а стало быть, неправдоподобное – с будущим и доводить оптимистическое, парящие в воздухе мировоззрение до точки, где оно соединяется с точкой отправной: с цинизмом, с которым утопия намеревалась бороться. В общем, чудовищная феерия…

То, что Россия в состоянии осуществить свою грезу о всемирной империи, вероятно, но не бесспорно. Зато очевидно, что она может завоевать и присоединить к себе всю Европу и даже что она за это возьмется хотя бы ради того, чтобы успокоить остальной мир… Она ведь довольствуется такой малостью! Где найдешь еще такое убедительное доказательство скромности и умеренности? Подумаешь, окраина материка! Тем временем она созерцает его тем же взглядом, каким монголы глядели на Китай, а турки – на Византию, с той все же разницей, что Россия уже усвоила немало западных ценностей, тогда как татарские и оттоманские орды имели над своими жертвами лишь преимущество сугубо материального характера. Конечно же, прискорбно, что Россия не прошла через Ренессанс: вся ее неоднородность отсюда и происходит. Но с ее способностью двигаться ускоренными темпами лет через сто, а то и меньше она станет такой же утонченной и уязвимой, как Запад, достигший того уровня цивилизации, дальше которого можно идти только вниз. Высшим достижением истории будет установление вариаций этого уровня. Уровень России ниже европейского и потому может только подниматься, а она вместе с ним; иными словами, Россия обречена на восхождение. Между тем не рискует ли она на подъеме, вырвавшаяся из узды, какой она представляется сейчас, потерять равновесие, расколоться и разрушиться? Она со своими душами, матеревшими в сектах и степях, вызывает уникальное ощущение простора и замкнутости, необъятности и удушья, в общем, ощущение Севера, но Севера особого, неподвластного нашему анализу и отмеченного печатью такого сна и такой надежды, от которых можно содрогнуться, и печатью ночи, богатой северным сиянием и утренней зарей, о которой долго помнится. У этих гипербореев, чье прошлое, как и настоящее, кажется принадлежащим другой, не нашей хронологии, нет ничего похожего на средиземноморские прозрачность и легкость. Перед хрупкостью и славой Запада они испытывают стеснение, следствие запоздалого пробуждения и неизрасходованной жизненной силы: это комплекс неполноценности сильного… Они от него избавятся, они его преодолеют. Единственная лучезарная точка в нашем будущем связана с их заветной судорожной тоской по утонченному миру, по его разлагающему очарованию. Если они ей поддадутся (таким представляется очевидное направление их судьбы), то станут цивилизованными за счет утраты инстинктов и – отрадная перспектива – тоже обретут восприимчивость к вирусу свободы.

Чем больше гуманизируется империя, тем сильнее в ней развиваются противоречия, от которых она погибнет. Сложная во всех отношениях, обладающая гетерогенной структурой (в противоположность нации, представляющей собой органичную реальность), она, чтобы выжить, нуждается в сплачивающем принципе террора. Станет ли она открытой для терпимости? Терпимость разрушит в ней единство и силу и подействует на нее подобно смертельному яду, который она сама себе пропишет. Дело в том, что терпимость – это псевдоним не только свободы, но еще и духа; и этот дух, еще более пагубный для империй, чем для индивидов, подтачивает их, подвергая опасности целостность и ускоряя распад. Вот почему терпимость оказывается тем самым инструментом, с помощью которого ироничное провидение их разрушает.

Если – несмотря на всю гипотетичность такого предположения – в Европе в шутку установили бы зоны витальности, нам пришлось бы констатировать, что чем ближе к Востоку, тем этот инстинкт сильнее, а по мере продвижения на Запад он слабеет. Русские

далеко не единственные, кто им обладает, хотя другие народы, которым он присущ, тоже в той или иной степени принадлежат к сфере советского влияния. Эти нации еще не сказали своего последнего слова, отнюдь. Некоторые из них, как, например, Польша или Венгрия, сыграли заметную роль в истории; прочие – вроде Югославии, Болгарии и Румынии – прожили свой век в тени, совершая судорожные движения, не имевшие продолжения. Но, каким бы ни было их прошлое и независимо от уровня цивилизованности, все они располагают таким биофондом, какого на Западе не сыскать. Истязаемые, обездоленные, ввергнутые в бесславное мученичество, разрывавшиеся между неспособностью к действию и бунтарством – не исключено, что в будущем они получат вознаграждение за такое количество испытаний, унижений и даже за такую трусость. Сила инстинкта не может быть оценена извне; чтобы оценить его интенсивность, следует пожить в этих странах, единственных в мире, которые в своем прекрасном ослеплении все еще делают ставку на судьбы Запада, или попытаться увидеть их внутренним взором.

## Россия и апокалипсис

А теперь представим себе, что наш континент оказался включен в состав русской империи; представим затем, что эта чересчур обширная империя обессиливает и распадается, следствием чего становится освобождение народов: какие из них взяли бы верх и принесли бы в Европу избыток нетерпения и силы, без которых ее ожидает окончательное оцепенение? Не сомневаюсь: именно те, о которых я сказал выше. Учитывая их нынешнюю репутацию, мое утверждение сочтут смешным. «Ладно еще Центральная Европа, – скажут мне, – но Балканы!». Я не хочу их защищать, но не хочу и умалчивать об их заслугах. Это их пристрастие к опустошениям, к внутренней неразберихе, к их похожему на объятый пламенем бордель миру, их сардонический взгляд на происходящие или неминуемые катаклизмы, эта их язвительность и их праздность, праздность, как у человека, страдающего бессонницей или у убийцы, – неужели вам этого мало, этой богатой и тяжелой наследственности, этого имущества, которое принадлежит по праву жителям Балкан? А уж когда у них есть еще и «душа», свидетельствующая самим своим наличием, что они прекрасно сохранили в себе остатки дикости! Наглые и безутешные, они захотели бы выляться в славе, стремление к которой неотделимо от воли к самоутверждению и погибели, от склонности к стремительному закату. Если речи их ядовиты, интонация – бесчеловечна, а то и омерзительна, то это оттого, что тысячи причин заставляют их орать громче цивилизованных людей, истощивших свою способность к крику. Единственные по-настоящему «примитивные» люди в Европе, они, возможно, дадут ей новый импульс, что она непременно сочтет своим последним унижением. Хотя если бы Юго-Восток Европы был одним сплошным ужасом, то почему же, когда мы его покидаем или отправляемся в эту часть света, мы ощущаем нечто вроде падения – правда, восхитительного – в бездну?

Глубинная жизнь, подспудная жизнь, жизнь народов, которые до сих пор имели огромное преимущество перед другими народами в том, что были отвергнуты историей и смогли накопить капиталы грез, это скрытое существование, ожидающее несчастий воскресения, начинается сразу же за Веной, крайней географической точкой западного «изгиба». Австрия, чье одряхление выглядит и символическим, и комичным, предвосхищает судьбу Германии. У германцев уже не будет ни масштабных заблуждений, ни миссии, ни неистовства – ничего из того, что делает их привлекательными или одиозными! У них на роду было написано быть варварами, и они разрушили Римскую империю, чтобы смогла народиться Европа. Они создали Европу, и они же должны были ее разрушить. Колеблясь вместе с ними, она приняла на себя отдачу от их истощения. Каким бы динамизмом они сейчас ни обладали, у них больше нет того, что кроется за всякой энергией, ни того, что оправдывает ее. Обреченные на ничтожество, они вот-вот превратятся в гельветов, навсегда лишенных своих привычных чрезмерностей, доведенных до необходимости мусолить свои вырождающиеся добродетели и измельчавшие пороки, имея в качестве единственной

надежды возможность стать просто неким племенем. Они недостойны того страха, который могут еще внушать: верить в них или страшиться их – значит оказывать им честь, которой они вряд ли заслуживают. Их провал сослужил добрую службу России. Если бы их затея закончилась удачно, Россия могла бы забыть о своих великих чаяниях по крайней мере лет на сто. Но они не могли добиться успеха, поскольку добрались до вершины своего материального могущества в пору, когда им уже нечего было нам предложить, когда они сделались сильными и опустошенными. Уже пробил час других. «Разве славяне не являются древними германцами по отношению к уходящему миру?» – вопрошал в середине прошлого века Герцен, наиболее прозорливый и наиболее противоречивый из русских либералов, мыслитель с задатками пророка, испытывавший отвращение к собственной стране, разочаровавшийся в Западе, столь же неспособный обосноваться на какой-нибудь «родине», как и в какой-либо проблеме, хотя он и любил рассуждать о такой смутной и неисчерпаемой материи, как жизнь народов: обычное времяпрепровождение эмигранта. Между тем народы, если верить другому русскому, Соловьеву, являются не такими, какими они себя представляют, а такими, какими их мыслит Бог в своей вечности. Мне неведомо мнение Бога о германцах и славянах; тем не менее я знаю, что он покровительствовал последним и что хвалить его за это столь же бессмысленно, как и хулить.

Сегодня Россия разрешила вопрос, который многие русские в прошлом столетии задавали друг другу относительно своей страны: «Не напрасно ли был сотворен этот колосс?». Колосс этот имеет значение, да еще какое! Если бы была создана идеологическая карта, она бы показала, что он простерся далеко за собственные пределы, что он расширяет их где угодно и куда угодно и что его присутствие всюду наводит на мысль не столько о кризисе, сколько об эпидемии, порой целительной, зачастую губительной и всегда подобной вспышкам молнии.

Римская империя была деянием одного города; Англия основала свою империю, чтобы спастись от тесноты островной жизни; Германия попыталась воздвигнуть свою, чтобы не задохнуться на перенаселенной территории. Феномен, не имеющий себе равных: России приходилось оправдывать свои экспансионистские планы собственными необъятными просторами. «Раз уж у меня и так достаточно земель, почему бы мне не заиметь излишек?» – таков подразумеваемый парадокс ее заявлений и ее молчания. Преобразуя бесконечность в политическую категорию, она произвела переворот в классической концепции империализма, создав для него новые кадры и возбудив во всем мире настолько большую надежду, что та неизбежно выродилась в смятение.

Со своими десятью веками ужасов, сумерек и обещаний Россия оказалась более кого бы то ни было способной к гармонии с ночной стороной исторического момента, который мы переживаем. Апокалипсис удивительно ей подходит, она обладает привычкой и склонностью к нему, и, поскольку ритм ее движения изменился, она упражняется в нем сегодня больше, чем когда бы то ни было в прошлом. «Куда же мчишься ты, Русь?» – спрашивал еще Гоголь, ощущавший неистовство под ее внешней неподвижностью. Теперь мы знаем, куда она несется, тем более что нам известно, что, как водится у народов с имперской судьбой, с большим нетерпением она берется разрешать чужие проблемы, нежели собственные. А это значит, что наше существование во времени зависит от того, что она решит или предпримет: она действительно держит в руках наше будущее…

К счастью для нас, наша субстанция временем не исчерпывается. Зарождается неразрушимое, иное: в нас ли? вне нас? Кто знает? Как бы то ни было, при существующем положении вещей нашего внимания заслуживают лишь вопросы стратегии и метафизики, те, что приковывают нас к истории, и те, что нас из нее вырывают: злободневность и абсолют, газеты и Евангелие…

Я предвижу день, когда мы будем читать только телеграммы и молитвы. Знаменательный факт: чем больше нас поглощает повседневность, тем больше мы испытываем потребность вырваться за ее пределы, так что в одно и то же мгновение мы живем и в мире, и вне мира. Вот почему, наблюдая парад империй, нам только и остается,

что выбирать нечто среднее между зубоскальством и безмятежностью.

## Часть 3. Горькие силлогизмы
## *(из одноименной книги Э. М. Сиорана. Перевод В. Никитина)*

### Опьянение историей

В те времена, когда человечество, только-только начавшее развиваться, примеривалось к несчастьям, никто бы и не подумал, что оно сумеет наладить их серийное производство.

Если бы Ной обладал способностью читать будущее, он, вне всякого сомнения, постарался бы потопить свое судно.

Конвульсии истории относятся к ведению психиатрии, как, впрочем, и вообще все, что побуждает человека действовать; двигаться – это значит обнаруживать отсутствие разума, что чревато смирительной рубашкой.

События – раковые опухоли Времени…

Эволюция: Прометей в наши дни был бы депутатом от оппозиции.

Час преступления для разных народов наступает в разное время. Этим как раз и объясняется непрерывность истории.

Амбиция каждого из нас состоит в том, чтобы зондировать Наихудшее, чтобы стать безукоризненным пророком. Увы, на свете случается столько катастроф, мысль о которых нам даже и в голову не приходила!

В отличие от других веков, применявших пытки небрежно, наш, более требовательный век, привносит в них своеобразный пуризм, делающий честь нашей жестокости!

Любое негодование – от ворчания до люциферства – является заминкой в эволюции интеллекта.

Свобода является высшей ценностью только для тех, кем движет стремление стать еретиками.

Говорить: мне нравится такой-то режим больше, чем какой-либо другой, – значит нечетко формулировать свои мысли. Правильнее было бы сказать: я предпочитаю такую-то полицию такой-то другой полиции. Ибо, в сущности, история сводится к классификации полиции; ведь о чем рассуждает историк, как не о представлении, которое на протяжении веков складывается у людей о жандарме?

Не говорите нам больше о порабощенных народах и их любви к свободе; тиранов убивают слишком поздно, что значительно смягчает их вину.

В спокойные эпохи, когда мы ненавидим ради удовольствия ненавидеть, нам приходится подыскивать себе таких врагов, которые нас признают, – прелестное занятие, становящееся ненужным в бурные эпохи.

Человек источает из себя катастрофы.

Я люблю народы-астрономы, люблю халдейцев, ассирийцев, индейцев доколумбовской Америки, которые из-за своей любви к небу потерпели поражение в истории.

Истинно избранный народ – цыгане не несут ответственности ни за одно событие, ни за одно учреждение. Они стали победителями на земле именно благодаря своему нежеланию что-либо учреждать.

Еще каких-нибудь несколько поколений – и смех станет уделом немногих посвященных; он совсем выйдет из обихода, как это уже случилось с экстазом.

Нация угасает тогда, когда она перестает реагировать на фанфары: декаданс – это смерть трубы.

Будучи допингом для молодых цивилизаций, скептицизм является в случае с древними цивилизациями всего лишь отражением их сдержанности.

Страсть лечить всякие психические расстройства особенно присуща народам

зажиточным: из-за отсутствия у них тревог, связанных с самым непосредственным будущим, они живут в болезнетворном климате. Чтобы нервы у нации были в порядке, она нуждается в каком-нибудь содержательном несчастье, в реальном предмете, оправдывающем ее переживания, в некоем положительном страхе, оправдывающем ее «комплексы». Общество консолидируется в опасности и деградирует в обстановке успокоенности. Психозы множатся там, где царят мир, гигиена и комфорт.

…Я приехал из страны, которая, поскольку она не знала счастья, породила всего лишь одного психоаналитика.

Тираны, утолив свою свирепость, становятся добродушными; порядок был бы возможен, если бы рабы, снедаемые завистью, не стремились утолить, в свою очередь, свою собственную свирепость. Большинство событий возникает из желания ягненка стать волком. Не имеющие клыков жаждут их заполучить; они тоже мечтают кого-нибудь сожрать и воплощают эту мечту благодаря своей животной многочисленности.

История – это динамичность жертв.

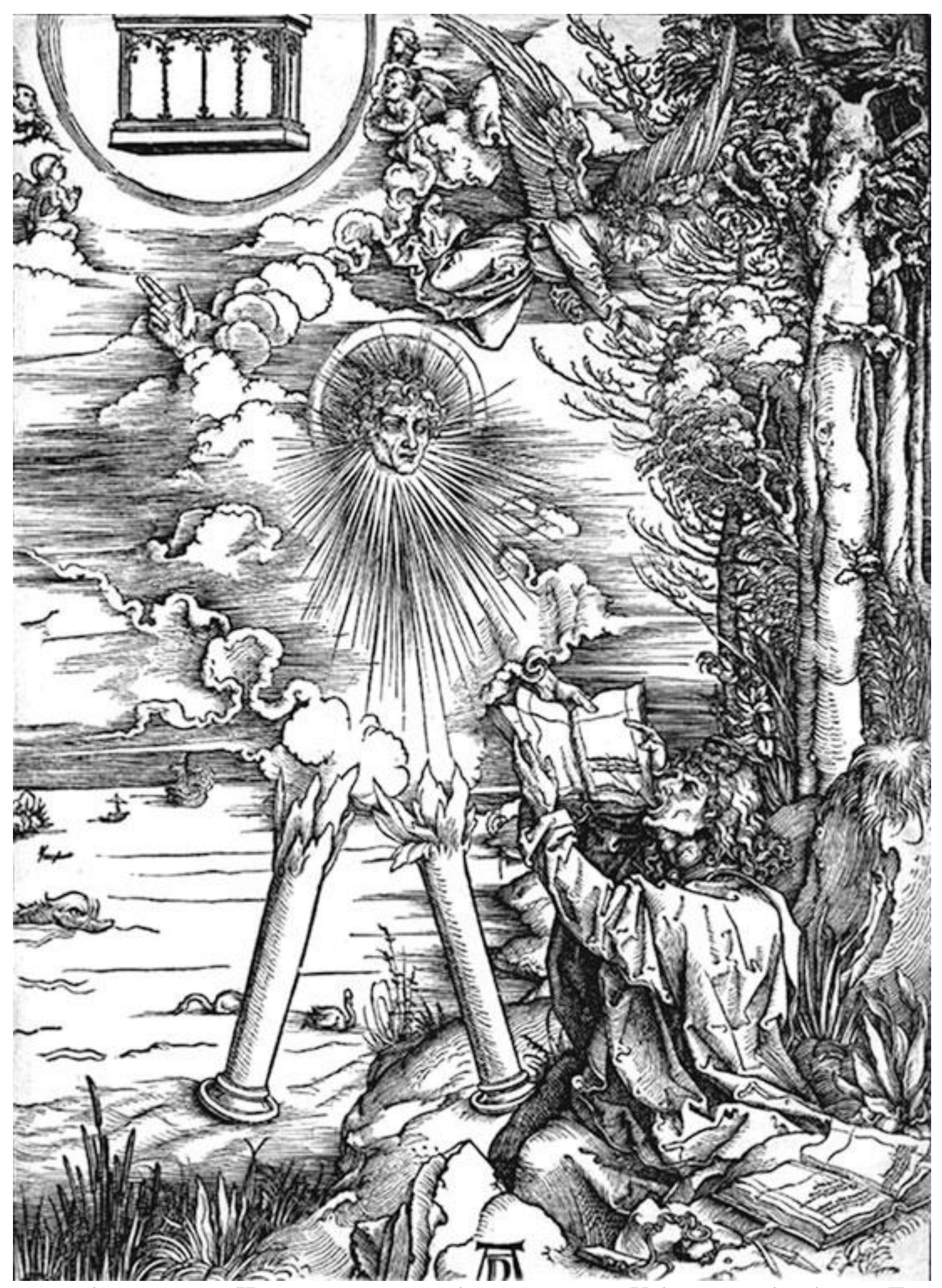
Определив уму место в ряду добродетелей, а глупости – в ряду пороков, Франция расширила сферу морали. Отсюда ее преимущество перед другими нациями, ее расплывчатое превосходство.

Степень утонченности той или иной цивилизации можно измерять количеством импотентов, количеством людей с расстройствами нервной системы и болезнями печени. Хотя зачем ограничиваться только этими несчастными, когда есть много других, чьи плохие сосуды или нездоровые железы в такой же мере свидетельствуют о неумолимом торжестве Духа.

Биологически слабые люди, те, кому жизнь не в удовольствие, прилагают все силы, чтобы изменить параметры последней.

Ну почему бы не изолировать от общества реформаторов при первых же симптомах у них веры? Зачем медлить с заключением их в какой-нибудь приют для хронических больных или же в тюрьму? Скажем, Галилеянина туда можно было бы поместить уже с двенадцати лет. Общество плохо организовано: оно не предпринимает ничего против сумасшедших, которые не умирают в юном возрасте.

Слишком уж поздно скептицизм осеняет нас своим благословением, слишком поздно накладывает свою печать на уже обезображенные убеждениями лица, на лица наших жен, алчущих идеала.



***Иоанн съедает книгу. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер***

Нам потребовалось довольно много времени, чтобы перебраться из пещер в салоны; интересно, понадобится ли нам столько же времени, чтобы проделать такой путь в обратном направлении, или мы помчимся семимильными шагами? Вопрос совершенно праздный для тех, у кого не возникает предчувствия предыстории…

Все катастрофы – революции, войны, массовые преследования – проистекают из маленьких-маленьких неопределенностей в надписях на знаменах.

Только народы-неудачники приближаются к «человеческому» идеалу; остальные же,

преуспевающие, несут на себе стигматы своей славы, печать своего позолоченного скотства.

В тех случаях, когда мы испытываем панический ужас, мы являемся жертвами какой-нибудь агрессии Грядущего.

Политик без признаков старческого слабоумия внушает мне страх.

Великие народы, являясь инициаторами своих несчастий, могут варьировать их по своему усмотрению, а малым приходится довольствоваться теми невзгодами, которые им навязывают.

Уныние – или фанатизм наихудшего.

Когда отребье влюбляется в какой-нибудь миф, ждите резни или, что еще хуже, появления новой религии.

Яркие деяния – удел народов, непривычных к усладам длительных трапез, не ведающих поэзии десерта и меланхолии пищеварения.

Ну разве продлился бы род людской более одного поколения без этого его упорного стремления выглядеть смешным.

Даже в оккультных науках и то больше честности и строгости, чем в философских учениях, которые приписывают истории какой-либо «смысл».

Наш век возвращает меня к началу времен, к последним дням Хаоса. Я слышу, как стонет материя, как пространство из конца в конец пронизывают призывные крики Неодушевленности; кости мои прорастают в предысторию, а моя кровь течет в жилах первых пресмыкающихся.

Даже от самого мимолетного взгляда на путь, пройденный цивилизацией, я делаюсь заносчивым, как Кассандра.

«Освобождение» человека? Оно состоится тогда, когда, избавившись от своего привычного финализма, он осознает, что его возникновение явилось чистой случайностью и что претерпеваемые им испытания лишены смысла. Просветленный таким образом, каждый тогда будет вертеться, продолжая претерпевать свои муки, а для черни «жизнь» окажется сведенной к ее истинным пропорциям, то есть к рабочей гипотезе.

Кто не видел борделя часов в пять утра, тот и представить себе не может, к какому изнеможению катится наша планета.

В защиту истории нет никаких аргументов. На нее нужно реагировать с непоколебимой абулией циника; или же пристраиваться ко всем остальным и идти вместе со всем сбродом: с бунтарями, убийцами и верующими.

Что, опыт с человеком оказался неудачным? Он закончился неудачей уже в эпоху Адама. Возникает, правда, один вопрос: проявим ли мы достаточно изобретательности, чтобы выглядеть новаторами, чтобы что-нибудь добавить к этой неудаче?

Ну а пока давайте упорствовать в нашей человеческой несостоятельности, будем вести себя как шуты Грехопадения, будем ужасно легкомысленны!

Я так расстроен тем, что не присутствовал при разрыве земли с солнцем, что утешить меня могла бы только перспектива увидеть, как люди порвут с землей.

В былые времена переход от одного противоречия к другому совершался степенно;

мы же сталкиваемся одновременно с таким их количеством, что уже даже не знаем, к какому из них привязываться, а какое решать.

Закоренелые рационалисты, неспособные ни смириться с Судьбой, ни обнаружить в ней смысл, мы считаем себя центром наших действий и искренне считаем, будто разлагаемся по собственной воле. Стоит какому-то очень важному событию войти в нашу жизнь, как судьба из прежде неопределенной и абстрактной превращается для нас в нечто вроде сенсации. Так каждый из нас по-своему вступает в зону Иррационального.

Цивилизация на исходе из удачной аномалии, каковой она была, вписывается, увядая, в норму, начинает равняться на какие-нибудь заурядные нации, терпит неудачу за неудачей и конвертирует свою участь в уникальную проблему. Великолепным примером подобной одержимости своей долей является Испания. Продемонстрировав в эпоху конкистадоров возможности сверхчеловеков со звериным оскалом, она затем, предоставив своим добродетелям и своему гению тихо плесневеть, принялась размышлять о своем прошлом, составлять списки своих упущений; влюбленная в свой упадок, она как бы пересмотрела систему ценностей. При этом нельзя не заметить, что подобный исторический мазохизм перестает быть отличительной чертой Испании, что он становится климатом и как бы даже рецептом упадка для целого континента.

В наши дни, обращаясь к теме бренности цивилизаций, уже любой неграмотный может поспорить по части мороза по коже и с Гиббоном, и с Ницше, и со Шпенглером.

Конец истории, конец человека – стоит ли серьезно думать о таких вещах? – это события отдаленного будущего, которое Смятение – жадное до надвигающихся катастроф – желает во что бы то ни стало приблизить.

## Запад

Запад напрасно подыскивает себе форму агонии, достойную его прошлого.

Дон Кихот – молодость своей цивилизации: он придумывал себе события; мы же не знаем, как ускользнуть от тех событий, которые на нас наступают.

Восток склонился над цветами и выбрал отрешенность. Мы же противопоставляем ему машины и усилие, да еще эту всевозрастающую меланхолию – последнюю судорогу Запада.

Как же это грустно – видеть великие нации выпрашивающими себе еще немного будущего в качестве добавки!

Наша эпоха будет отмечена романтизмом людей без родины. Уже сейчас формируется образ мира, где ни у кого не будет права гражданства.

В любом сегодняшнем гражданине живет будущий чужак.

Тысяча лет войн сплотили Запад; один век «психологии» довел его до полного изнеможения.

С помощью сект толпа приобщается к Абсолюту, а народ обнаруживает свою жизненную силу. Именно они подготовили в России Революцию и славянское половодье.

А католицизмом, с тех пор как он неукоснительно придерживается своих догм, все больше и больше овладевает склероз; тем не менее миссию его пока что нельзя считать завершенной, ведь ему еще предстоит носить траур по латыни.

Поскольку мы больны историей, больны закатом истории, то волей-неволей

вспоминаются слова Валери, которые хочется усугубить, усилить их звучание: мы теперь знаем, что цивилизация смертна, что мы стремительно несемся к горизонтам апоплексии, к зловещим чудесам, к золотому веку ужаса.

По интенсивности конфликтов XVI век нам ближе, чем какой-либо другой; но я не вижу ни Лютера, ни Кальвина в наши дни. В сравнении с этими гигантами и их современниками мы выглядим пигмеями, заполучившими с помощью науки монументальную судьбу. Однако если нам не хватает статности, то в одном у нас все же есть преимущество перед ними: в своих злоключениях они имели надежду, имели малодушие числить себя среди избранных. Предопределение свыше, единственная сохранявшая свою привлекательность христианская идея, еще могло вводить их в заблуждение. Для нас же избранных больше не существует.

Послушайте немцев и испанцев, когда они говорят о себе. Ваши уши завянут от повторения одной и той же песни: трагический, трагический… Такова их манера объяснять вам истоки своих несчастий или своей косности, их способ приходить к каким-то результатам…

Затем оборотитесь к Балканам: то и дело вы будете слышать: судьба, судьба… Так слишком близкие к своим истокам народы маскируют свои недейственные печали. Это сдержанность троглодитов.

Общаясь с французами, учишься быть несчастным деликатно.

Народы, не предрасположенные к праздной болтовне, к легкомысленности, к поверхностности, – это катастрофа и для других, и для них самих. Они делают упор на пустяках, привносят серьезность во второстепенное и трагизм в мелочи. А если они и обременяют себя пристрастием к верности и гнусным отвращением к измене, то на них можно махнуть рукой и ждать их погибели. Чтобы подправить их достоинства, чтобы исцелить их от их глубины, их нужно переориентировать на культ, исповедуемый южанами, и привить им вирус фарсовости.

Если бы Наполеон завоевал Германию во главе войска марсельцев, облик мира был бы совсем иным.

Можно ли оюжанить серьезные народы? От решения этого вопроса зависит будущее Европы. Если немцы опять примутся работать, как они работали еще совсем недавно, Европа погибла; то же самое произойдет, если русские не обретут вновь свою прежнюю склонность к лени. Следовало бы развить у тех и у других вкус к ничегонеделанию, к апатии, к сиесте, подразнить их прелестями безволия и неосновательности.

…Или уж надо смириться с теми решениями, которые Пруссия или Сибирь навяжут нашему дилетантизму.

Просто нет таких эволюций и таких порывов, которые не были бы разрушительными, по крайней мере в периоды своей интенсивности.

Гераклитовское становление противостоит временам, а вот бергсоновское становление смыкается одновременно и с наивным любительством, и с избитыми ходами философской мысли.

Как же были счастливы те монахи, которые где-то в конце Средних веков сновали из города в город, возвещая конец света! Их пророчества не торопились сбываться? Ну и что! Зато они могли неистовствовать, давать выход своим страхам, передавая свое смятение толпам и таким образом освобождаясь от него; в наше время, когда паника, проникнув в наши нравы, утратила свою эффективность, такие методы самолечения уже

невозможны.

Чтобы управлять людьми, надо разделять их пороки и усугублять их. Посмотрите на римских пап: пока они блудили, предавались кровосмесительству и убивали, им было легко властвовать; и церковь была всемогуща. А с тех пор как они встали на путь истинный, дела у них пошли все хуже и хуже: воздержание, равно как и умеренность, пошло им явно во вред; обретя респектабельность, они перестали внушать страх. Поучительные сумерки учреждения.

Такой предрассудок, как честь, свойствен примитивным цивилизациям. Он исчезает по мере накопления трезвомыслия, по мере того как бразды правления берут в свои руки трусы, те, кто, все «поняв», не видит больше смысла что-либо защищать.

Испания в течение трех веков ревниво хранила секрет Неэффективности; в наши дни этим секретом владеет весь Запад, который, однако, ни у кого его не похищал, а раскрыл совершенно самостоятельно с помощью самоанализа.

Гитлер попытался спасти целую цивилизацию с помощью варварства. Его мероприятие обернулось крахом; однако оно явилось последней инициативой Запада.

Вполне возможно, что этот континент заслуживал лучшей доли. Но кто же виноват, что он не сумел породить какое-нибудь более добротное чудовище?

Руссо оказался настоящим бедствием для Франции, так же как и Гегель для Германии. А вот Англия, невосприимчивая к истерии и равнодушная к системам, заключила союз с посредственностью; ее философия выявила ценность ощущения, ее политика сделала выбор в пользу деловой активности. Эмпиризм явился ее ответом на досужие вымыслы континента, парламент – вызовом утопиям и патологическому героизму.

Политическое равновесие невозможно без первоклассных ничтожеств. Ведь скажите, кто обычно устраивает катастрофы? Неугомонные деятели, импотенты, страдающие бессонницей люди, неудавшиеся художники, которые носили корону, саблю или униформу, а пуще всех их – оптимисты, те, кто надеется за счет других.

Злоупотреблять своим невезением некрасиво; а то некоторые люди, да и народы тоже, находят в этом такое удовольствие, что просто бесчестят трагедию.

Трезвым умам, дабы придать официальный характер своей скуке и навязать ее другим, следовало бы объединиться в «Лигу разочарования». Может, таким образом им удалось бы смягчить давление истории и сделать будущее факультативным…

Я в своей жизни обожал, а затем ненавидел многие народы, но никогда мне не приходило в голову отречься от испанца, каковым я рад был бы оказаться и сам…

I. Неуверенные инстинкты, подпорченные верования, страстишки и болтовня. Куда ни кинь взгляд – завоеватели на пенсии, рантье героизма перед лицом юных Аларихов, подкарауливающих Рим и Афины, куда ни кинь взгляд – сплошные парадоксы флегматиков. В былые времена остроты, родившиеся в салонах, пересекали страны, приводя в замешательство глупость или же облагораживая ее. Тогда Европа, кокетливая и неуступчивая, находилась в расцвете своего зрелого возраста; сегодня же, одряхлевшая, она уже никого не возбуждает. А между тем варварам хочется унаследовать ее кружева, и они с раздражением наблюдают за ее долгой агонией.

II. Франция, Англия, Германия; может быть, еще Италия. Остальное же… От какой такой случайности прекращает свое существование цивилизация? Почему, скажем,

голландская живопись или испанская мистика цвели всего лишь одно мгновение? Столько народов, переживших свой собственный гений! Поэтому их понижение в ранге представляется трагичным; однако что касается Франции, Германии и Англии, то тут это явление объясняется внутренней неизбежностью и связано с завершением определенного процесса, с выполнением определенной задачи; оно выглядит естественным, объяснимым, заслуженным. Могло ли дело обстоять иначе? Эти страны вместе добились успеха и вместе же пришли в упадок, ведомые духом соперничества, братства, ненависти; между тем на остальной части земной суши разный новоявленный сброд накапливал энергию, размножался и выжидал.

Племена с напористыми инстинктами сбивались в великую державу; однако затем наступает момент, когда, присмиревшие и ослабевшие, они начинают вздыхать по второстепенным ролям. Когда ты не завоевываешь, ты соглашаешься быть завоеванным. Драма Ганнибала состояла в том, что он родился слишком рано; несколькими веками позже он нашел бы врата Рима распахнутыми. Империя была бесхозяйная, совсем как Европа в наши дни.

III. Мы все вкусили от неблагополучия Запада. Искусство, любовь, религия, война – мы слишком много знаем обо всем этом, чтобы в это верить; да и потом, столько веков изнашивали тут свои силы! Эпоха законченности, эпоха тщательной отделки безвозвратно ушла в прошлое. Темы поэзии? Исчерпаны. Любить? Сейчас даже последнее отребье отвергает «чувство». Набожность? Пошарьте по церквям: сейчас там коленопреклоняется одна лишь глупость. А кто, как встарь, готов еще сражаться? Герой устарел; осталась одна безымянная бойня. Проницательные марионетки, мы все годимся лишь на то, чтобы кривляться перед лицом непоправимого. Запад? Нечто возможное без будущего.

IV. Оказываясь не в состоянии защищать наши хитроумные приспособления от сильных мускулов, мы станем все менее пригодными на что бы то ни было; нас сломит любой, кому вздумается. Вглядитесь в Запад: он переполнен знанием, бесчестьем и леностью. Как ни удивительно, но таковым оказалось логическое завершение миссии крестоносцев, рыцарей, пиратов.

Когда Рим отводил назад свои войска, он не был знаком с Историей и с уроками сумерек. У нас не тот случай. Что же за мрачный Мессия накинется на нас!

Тот, кто по рассеянности либо некомпетентности хоть ненамного задерживает человечество в его движении вперед, является его благодетелем.

Католицизм создал Испанию лишь затем, чтобы лучше ее задушить. Это страна, где путешествуешь, дабы восхищаться Церковью и дабы приближаться к ощущению удовольствия, которое там можно испытать от убийства какого-нибудь священника.

Запад явно прогрессирует, начиная робко выставлять напоказ свой маразм; и я уже меньше завидую тем, кто, видя, как Рим гибнет, полагали, что они наслаждаются совершенно уникальной, непередаваемой скорбью.

Истины гуманизма, вера в человека и прочее пока что не более убедительны, чем фантазии, не более жизнеспособны, чем тени. Запад был этими истинами; сейчас же он является всего лишь этими фантазиями, этими тенями. Столь же немощный, как и они, он не в состоянии их удостоверять. Он их тащит за собой, экспонирует, но больше уже не вменяет в обязанность, они перестали быть угрожающими. Вот почему те, кто цепляется за гуманизм, пользуются такими блеклыми, лишенными эмоциональной опоры словами, пользуются словами-привидениями.

А может, этот континент еще не пустил в ход свою последнюю карту? Что, если ему взять да и попытаться деморализовать остальной мир, попытаться распространить там свои

затхлые запахи? Это стало бы для него своеобразным способом сохранить на некоторое время свой престиж и свое влияние.

Если человечеству в будущем суждено возродиться, то оно осуществит это с помощью собственных отходов, с помощью рекрутированных отовсюду монголов, с помощью отребья континентов; и тогда прорисуются контуры карикатурной цивилизации, которую придется созерцать тем, кто создал истинную цивилизацию, недееспособным, пристыженным, обессиленным, созерцать, чтобы в конце концов затем укрыться в слабоумии и предать там забвению свои блистательные катастрофы.

## Религия

Если бы я верил в Бога, моему самодовольству не было бы предела: я бы гулял по улицам совершенно голым…

Святые столько раз прибегали к остроумной непринужденности парадокса, что их просто невозможно не цитировать в салонах.

При такой обуревающей человека жажде страдания, что потребовались бы – чтобы полностью ее утолить – тысячи и тысячи жизней, нетрудно представить себе, в каком аду должна была зародиться идея переселения душ.

За пределами материи все есть музыка: даже сам Бог всего лишь акустическая галлюцинация.

Поиск антецедента вздоха может привести нас к предшествующему мгновению, равно как и к шестому дню Творения.

Только орган позволяет нам понять, как может эволюционировать вечность.

Ночи, когда уже невозможно продолжать движение в Боге, когда он оказывается пройденным вдоль и поперек, исхоженным и буквально истоптанным, ночи, во время которых возникает мысль выбросить его на свалку, обогатить мир еще одной ненужной вещью.

Как было бы легко учреждать религии без бдительного ока иронии! Собрать толпу зевак вокруг наших впавших в экстаз говорунов – и дело сделано.

Вовсе не Бог, а Боль пользуется преимуществами вездесущности.

Во время решающих испытаний сигарета нам помогает гораздо эффективнее, чем Евангелие.

Генрих Сузо рассказывает, что он выгравировал стилетом у себя на коже, там, где находится сердце, имя Христа. И кровопускание это оказалось не напрасным: через некоторое время рана стала светиться.

Ну почему я не столь силен в моем неверии? Почему же я не в состоянии, написав на моей плоти другое имя, имя Врага, послужить ему световой рекламой?

Я хотел закрепиться во Времени; оно оказалось необходимым. Когда же я повернулся к Вечности, то почва ушла у меня из-под ног.

Наступает момент, когда любой человек говорит себе: «Или Бог, или я» – и ввязывается в бой, из которого оба выходят ослабленными.

Тайна человека совпадает со страданиями, на которые он рассчитывает.

Не зная отныне в том, что касается религиозного опыта, иных забот, кроме научных, наши современники взвешивают Абсолют, изучают его разновидности и приберегают свой душевный трепет для мифов, пьянящих историческое сознание. Перестав молиться, люди предаются рассуждениям по поводу молитв. Никаких восклицаний; одни теории. Религия бойкотирует веру. В былые времена люди погружались в Бога, питая к нему иногда любовь, иногда ненависть, но это всегда было опасное приключение в чем-то неисчерпаемом. Теперь же Бог, к великому отчаянию мистиков и атеистов, оказался сведенным к проблеме.

Как всякий иконоборец, я сокрушил своих идолов, чтобы устроить жертвоприношение их обломкам.

Святость бросает меня в дрожь: это вмешательство в несчастья других, это варварство милосердия, это сострадание без щепетильности…

Откуда у нас эти навязчивые мысли о Змие? Не боязнь ли это какого-нибудь последнего искушения, какого-нибудь грядущего падения, на этот раз непоправимого, после которого мы утратим даже память о Рае?

Когда, вставая утром, я слышал похоронный марш, я напевал его весь день, отчего к вечеру он, исчерпав себя, рассеивался в гимне…

Как же велика вина христианства, развратившего скептицизм! Ведь ни одному греку не пришло бы в голову связывать друг с другом стенания и сомнения. Он в ужасе отпрянул бы от Паскаля, а еще больше поразила бы его инфляция души, которая, начиная с Голгофы, обесценивает дух.

Быть более неприменимым, чем святой…

В нашей тоске по смерти мы становимся такими вялыми, внутри наших вен происходят такие процессы, что мы забываем о смерти и думаем только о химическом составе крови.

Творение явилось первым актом саботажа.

Неверующий, дружный с Бездной и отчаявшийся вырваться из нее, обнаруживает мистическое рвение в построении мира, столь же лишенного глубины, как какой-нибудь балет Рамо.

В Ветхом Завете умели запугать Небеса, угрожая им кулаком: молитва была ссорой между тварью и ее творцом. Евангелие появилось затем, чтобы их примирить: в этом-то и состоит непростительная вина христианства.



***Жена, облечённая в солнце, и семиглавый дракон. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюре***

То, что живет без памяти, не вышло из Рая: растения по-прежнему находятся там. Они не были приговорены к Греху, к этому отсутствию возможности забывать; тогда как мы превратились в странствующие угрызения совести и т. д. и т. п.

(Сожалеть о потерянном Рае! Вот уж трудно придумать что-то более несовременное, трудно зайти дальше в своем провинциализме и своей страсти ко всему анахроничному.)

«Господь, без тебя я безумен, но еще более безумен я с тобой!» – так в лучшем случае

должен был бы выглядеть результат возобновления контактов между неудачником, живущим внизу, и неудачником, пребывающим наверху.

Великое преступление страдания состоит в организации Хаоса, в позорном превращении последнего в мироздание.

Каким искушением были бы церкви, если бы не было прихожан, а были бы только судороги Бога, о которых нас оповещает орган!

Когда я соприкасаюсь с Тайной, не имея возможности посмеяться над ней, я спрашиваю себя, зачем нужна эта вакцина против Абсолюта, каковой является трезвомыслие.

Сколько трескотни по поводу выбора пустыни в качестве местожительства. Будучи более хитрыми, чем первые отшельники, мы научились искать ее в самих себе.

Я бродил вокруг Бога в качестве шпика; не в силах умолять его, я за ним шпионил.

Вот уже две тысячи лет Иисус мстит нам за то, что он не умер на диване.

Дилетантам до Бога нет никакого дела; зато много размышляют о нем безумцы и пьяницы, эти великие специалисты.

Только лишь остаткам рассудительности обязаны мы привилегией быть поверхностными.

Изгонять из себя токсины времени, дабы сохранять яды вечности – такова ребяческая затея мистика.

Возможность обновляться при помощи ереси наделяет верующего явным преимуществом над неверующим.

Предел падения еще не достигнут, если не возникает сожалений об ангелах… разве что появится потребность молиться до разжижения мозгов.

Цинизм совершает еще большую ошибку, чем религия, уделяя слишком много внимания человеку.

Между французами и Богом в качестве посредника выступает лукавство.

Я честно перебрал все аргументы в пользу Бога: его несуществование кажется мне вполне очевидным. Он обладает просто гениальной способностью дискредитировать себя всеми своими деяниями; его защитники лишь усугубляют неприязнь к нему, его обожатели внушают недоверие к нему. Кто боится возлюбить его, пусть почитает Фому Аквинского…

И мне вспоминается случай с одним ученым-богословом из Центральной Европы, попросившим одну из своих учениц перечислить аргументы в пользу существования Бога; та перечисляет: исторический аргумент, онтологический и так далее. Однако она тут же добавляет: «Все же я не верю». Профессор злится, снова перечисляет один за другим все доводы; та пожимает плечами и продолжает упорствовать в своем неверии. Тогда теолог вскакивает, весь красный от веры, и кричит: «Сударыня, я даю вам мое честное слово, что Он существует!»…Аргумент, который один стоит всех богословских трудов.

Что можно сказать о Бессмертии? Уже само желание разобраться с ним или даже

просто подступиться к нему свидетельствует либо просто о заблуждении, либо о тяге к очковтирательству. Тем не менее теологические трактаты проявляют к этому необычайный интерес. Если верить им, то нам следует лишь довериться некоторым враждебным Времени дедукциям… И тогда нам будет вечность – никакого праха и никакой агонии.

Подобные россказни, естественно, не заставили меня усомниться в моей собственной хрупкости. Зато как же меня взволновали размышления одного моего старого друга, сумасшедшего бродячего музыканта. Как все чокнутые, он занимался проблемами и некоторые из них уже «разрешил». В тот день после обычного своего обхода террас кафе он начал вдруг расспрашивать меня о… бессмертии. «Оно немыслимо», – сказал я ему. Я не без симпатии, отвращения смотрел на его не от мира сего глаза, на его морщины, на его лохмотья. Он весь светился от уверенности: «Ты неправильно делаешь, что не веришь в него; раз ты не веришь, то ты его и не получишь. А вот я уверен, что смерть бессильна против меня. Кстати, что бы ты ни говорил, у всего есть душа. Например, ты видел, как птицы порхают, порхают по улицам, а потом вдруг раз – и взлетают вверх над домами, чтобы смотреть на Париж? Это потому, что у них есть душа, а значит, они не могут умереть!».

Чтобы вновь овладеть умами, католицизму нужен буйный папа, весь состоящий из противоречий, истеричный, снедаемый еретическим рвением, варвар, которому нипочем две тысячи лет теологии.

Неужели же в Риме и в остальном христианском мире совсем иссякли запасы безумия? С конца XVI века гуманизированная Церковь порождает разве что второстепенные расколы, святые пошли какие-то худосочные, отлучения от церкви стали просто смехотворными. И если уж этому новоявленному безумцу не удалось бы ее спасти, то он хотя бы бросил ее в какую-нибудь другую бездну.

Из всего, что богословы напридумывали, приемлемыми для чтения страницами и единственно верными словами являются те, которые посвящены Лукавому. Как меняется у них тональность, как они загораются, когда поворачиваются спиной к Свету и начинают заниматься Тьмой! Можно прямо подумать, что они возвращаются в свою стихию, что они как бы вновь открывают самих себя. Наконец-то им позволяется ненавидеть, у них есть на это разрешение: это ведь вам уже не возвышенное мурлыканье и не пережевывание назидательных сентенций. Хотя ненависть может быть гнусной, расстаться с ней более опасно, чем злоупотреблять ею. Церковь очень и очень мудро уберегла своих служителей от такого риска; чтобы удовлетворить их инстинкты, она науськивает их на Лукавого; они набрасываются на него, кусают его; к счастью, эта кость никогда не иссякнет… Если ее у них отнять, они предадутся порокам или же впадут в апатию.

Даже тогда, когда нам кажется, что мы выселили Бога из своей души, он нет-нет да и обнаружит там свое присутствие; мы, конечно, чувствуем, что ему там скучно, но у нас осталось слишком мало веры, чтобы пытаться развлечь его…

Ну чем религия может помочь верующему, который разочаровался и в Боге, и в Дьяволе?

Зачем мне складывать оружие? Я ведь еще не пережил всех противоречий, и к тому же меня не оставляет надежда попасть еще в какой-нибудь тупик.

Вот уже столько лет я дехристианизируюсь прямо на глазах.

Любая вера придает мне наглости; только что приобретенная, она будит во мне дурные инстинкты; те, кто ее не разделяет, кажутся мне жалкими и несостоятельными, заслуживающими лишь презрения и сострадания. Понаблюдайте за неофитами в политике и особенно в религии, за всеми теми, кто сумел заинтересовать Бога своими комбинациями,

понаблюдайте за всеми этими новообращенными, этими нуворишами Абсолюта. Сравните их настырность со скромностью и благопристойными манерами тех, кто как раз сейчас утрачивает свою веру и свои убеждения…

На границе самого себя: «Что я выстрадал, как я страдаю сейчас, этого никогда не узнает никто, даже я сам».

Когда из любви к одиночеству мы разбиваем наши оковы, мы оказываемся в полной Пустоте: больше ничего и больше никого… Кого бы еще ликвидировать? Где бы раздобыть какую-нибудь жертву на длительный срок? В момент подобного замешательства и происходит наша встреча с Богом: уж с ним-то можно порывать бесконечно долго…

## У истоков пустоты

Я верю в спасение человечества, в будущее цианистого калия…

Оправится ли когда-нибудь человек от того смертельного удара, который он нанес жизни?

Я все равно никогда не смог бы примириться с вещами, даже если бы каждое мгновение, отрываясь от времени, спешило ко мне с поцелуем.

Нужно иметь поистине надтреснутое сознание, чтобы обрести лазейку в потусторонний мир.

Кто не видел, всматриваясь в полной темноте в зеркало, проекцию ожидающих его преступлений?

Если бы мы не обладали способностью преувеличивать наши несчастья, мы были бы не в состоянии их выносить. Раздувая их почем зря, мы начинаем смотреть на себя как на лучших из изгоев, как на избранников наоборот, отмеченных и поощряемых немилостью.

Для нашего великого блага в каждом из нас живет фанфарон Непоправимого.

Нужно все пересмотреть, даже рыдания…

Когда Эсхил или Тацит кажутся вам слишком пресными, раскройте какую-нибудь «Жизнь насекомых» – эпопею исступления и бесполезности, ад, у которого, к счастью для нас, не будет ни драматурга, ни хроникера. Что осталось бы от наших трагедий, если бы какая-нибудь ученая букашка поведала бы нам о своих?

Вы и не действуете, и в то же время ощущаете в крови лихорадку, как от великих деяний; в отсутствие врага вы участвуете в изнурительной битве… На самом деле это всего лишь невротическое немотивированное напряжение, способное даже у бакалейщика вызвать смятение, как у проигравшего сражение генерала.

Я не могу видеть улыбки, без того чтобы не прочитать в ней: «Посмотри на меня! Это в последний раз».

Боже, пожалей мою кровь, пожалей мою пламенеющую анемию!

Как же много нам требуется сосредоточенности, изобретательности и такта, чтобы

разрушить смысл нашего существования.

Стоит мне вспомнить, что человеческие индивиды – это всего лишь брызги слюны плюющейся направо и налево жизни и что сама жизнь в общем стоит немногим более того, как меня тянет в ближайшее бистро с мыслью никогда оттуда не выходить. Но даже если бы я опустошил там тысячу бутылок, я все равно ни за что не полюблю Утопию, не полюблю веру в то, что не все еще потеряно.

Каждый замыкается в своем страхе – в этой своей башне из слоновой кости.
Секрет моей способности приспосабливаться к жизни? Я меняю свои отчаяния как рубашки.

При всяком крушении появляется как бы последнее ощущение – в Боге.

Страшно охочий до агоний, я умирал столько раз, что мне кажется прямо неприличным злоупотреблять еще и трупом, от которого мне уже не будет никакого проку.

Ну какое там высшее Существо или еще какое-нибудь слово с большой буквы. Название «Бог» звучало гораздо лучше. Его и нужно было сохранить. Разве не правилами благозвучия нужно руководствоваться в первую очередь, играя в истины?

В состоянии беспричинного пароксизма усталость является одной из разновидностей психоза, а сам усталый человек – демиургом какого-то вспомогательного мироздания.

Каждый день является Рубиконом, в котором мне хочется утонуть.

Ни у одного основателя религии не встретишь сострадания, сравнимого с состраданием одной из пациенток доктора Пьера Жане. Среди прочего у нее случались припадки жалости к «этому несчастному департаменту Уаза, который сжимает и содержит в себе департамент Сена, не имея возможности от него избавиться».
В сострадании, как и во всем остальном, психиатрической лечебнице принадлежит последнее слово.

В наших снах обнаруживает себя живущий в нас сумасшедший; похозяйничав в наших снах, он засыпает в глубинах нашей личности, в лоне рода людского; правда, иногда мы слышим, как он похрапывает в наших мыслях…

С каким облегчением человек, дрожащий за свою меланхолию и опасающийся излечиться от нее, вдруг обнаруживает, что его страхи необоснованны, что она неизлечима!

«Откуда у вас такой самоуверенный вид?» – «Видите ли, мне удалось остаться в живых после стольких ночей, на протяжении которых я спрашивал себя, не покончу ли я с собой на рассвете?»

Мгновение, когда у нас внезапно возникает мысль, будто мы все поняли, делает нас похожими на убийц.
Осознание бесповоротного начинается в тот момент, когда мы утрачиваем возможность обновлять наши сожаления.

Эти идеи, которые, преодолевая пространство, вдруг натыкаются на кости черепной коробки…
Натура религиозного человека определяется не столько его убеждениями, сколько его

потребностью продлить свои страдания и после смерти.

Я с ужасом наблюдаю, как уменьшается моя ненависть к людям, как ослабевают последние связывавшие меня с ними узы.

Бессонница – это единственная форма героизма, совместимая с кроватью.

Для молодого честолюбца нет большего несчастья, чем вращаться среди тех, кто разбирается в людях. У меня был опыт общения с тремя-четырьмя из них: они прикончили меня в двадцатилетнем возрасте.

Истина? Она в Шекспире; попытайся философ овладеть ею, он вдребезги разлетится вместе со всей своей системой.

Израсходовав все аргументы в пользу веселости или грусти, начинаешь наконец воспринимать их в чистом виде и жить то в радости, то в печали, уподобляясь таким образом сумасшедшим.

Ну разве я могу, я, столько раз обличавший у других манию величия, разве я могу, не рискуя показаться смешным, все еще считать себя образцом неэффективности, первым среди ненужных людей?

«Одна-единственная мысль, адресованная Богу, стоит больше, чем вся вселенная» (Екатерина Эммерих). Она была права, эта бедная святая…

Безумия избегают только слишком болтливые и слишком молчаливые люди: те, кто выговорил из себя все, что у него было от тайны, и те, в ком слишком много этих тайн осталось.

Когда нами овладевает страх – мания величия наоборот, – мы становимся центром какого-то вселенского вихря, и звезды начинают кружиться вокруг нас.

Как же все-таки безумно хочется, когда на Древе Познания созревает какая-нибудь идея, проникнуть в нее, подобно червю подточить ее, чтобы заставить упасть раньше срока!

Дабы не оскорбить верования и труды других людей, дабы они не обвиняли меня ни в жестокосердии, ни в тунеядстве, я ушел в Смятение до такой степени, что оно стало для меня своеобразной формой набожности.

Склонность к самоубийству отличает убийц, уважающих законы; испытывая страх перед убийством, они мечтают уничтожить самих себя, уверенные, что уж тут-то им обеспечена полная безнаказанность.

«Ну кто, кроме Бога, может мне помешать, – говорил мне один полусумасшедший, – если я во время бритья перережу себе горло?»

Получается, что вера, собственно, является всего лишь одной из уловок инстинкта самосохранения. Биология, биология повсюду…

Это ведь из страха перед страданием мы стараемся упразднить реальность. А если наши усилия увенчиваются успехом, то это упразднение тоже оказывается источником страдания.

Кто видит смерть не в розовом цвете, страдает дальтонизмом сердца.

Из-за того, что современное общество не восславило аборт и не узаконило людоедство, ему придется решать свои проблемы с помощью гораздо более радикальных средств.

Последним пристанищем тех, кого стукнула судьба, является идея судьбы.

Как бы я хотел быть растением, даже если бы мне пришлось нести дежурство над экскрементом!

Эта толпа предков, которые стенают в моей крови… Из уважения к их поражениям я ограничиваюсь вздохами.

Все преследует наши мысли, начиная с нашего мозга.

Нам не дано знать, то ли человек еще долго будет пользоваться речью, то ли он понемногу снова станет пользоваться всем.

Париж, будучи наиболее удаленной от рая точкой, тем не менее остается тем единственным местом, где отчаиваться приятно.

Есть такие души, что и сам Бог был бы не в силах их спасти, даже если бы он опустился на колени и стал бы молиться за них.

Один больной мне говорил: «Ну зачем мне эти страдания? Я же ведь не поэт, чтобы найти им какое-нибудь применение или кичиться ими».

Когда оказываются устраненными все поводы для восстания и уже не знаешь, против чего надо восставать, голова начинает кружиться так сильно, что в обмен на какой-нибудь предрассудок ты готов отдать жизнь.

Бледнеем мы оттого, что кровь куда-то уходит, чтобы не стоять между нами и неизвестно чем…

У каждого свое безумие: мое состояло в том, что я считал себя нормальным, катастрофически нормальным. А поскольку другие люди казались мне сумасшедшими, то я в конце концов стал бояться их, а еще больше – себя.

После нескольких приступов ощущения вечности и лихорадки начинаешь спрашивать себя: ну почему же я не согласился стать Богом?

Натуры созерцательные и натуры плотские – Паскаль и Толстой: присматриваться к смерти или испытывать к ней непреодолимое отвращение, открывать ее для себя на уровне духа или на уровне физиологии. Паскаль с его подпорченными болезнью инстинктами преодолевает свои тревоги, тогда как Толстой в ярости от того, что ему придется умереть, похож на мечущегося, сминающего вокруг себя джунгли слона. На широте экватора крови нет места созерцательности и медитациям.

Тот, кто в силу своего хронического легкомыслия не удосужился покончить с собой, выглядит в собственных глазах ветераном страданий, своего рода пенсионером самоубийства.

Чем ближе я знакомлюсь с сумерками, тем крепче у меня уверенность, что лучше всего человеческую орду поняли шансонье, шарлатаны и сумасшедшие.

Смягчить наши терзания, преобразовать их в сомнения – вот прием, который

подсказывает нам трусость, эта общеупотребительная модель скептицизма.

Болезнь, этот невольно выбираемый нами путь к самим себе, сообщает нам «глубину», буквально навязывает нам ее. Больной? Это же метафизик поневоле.

Тщетно поискать-поискать страну, желающую тебя принять, да и удовольствоваться в конце концов смертью, чтобы в этом новом изгнании поселиться уже в качестве гражданина.

Любой новый появляющийся на свет человек по-своему как бы омолаживает первородный грех.

Сосредоточенное на драме желез, внимательно вслушивающееся в признания слизистых оболочек, Отвращение делает всех нас физиологами.

Если бы у крови был не такой пресный вкус, аскет стал бы определять себя через свой отказ быть вампиром.

Сперматозоид является бандитом в чистом виде.

Коллекционировать удары судьбы, перемежать оргии с чтением катехизиса, претерпевать эмоциональные потрясения и измотанным кочевником строить свою жизнь с оглядкой на Бога, этого Апатрида…

Кто не знал унижения, не ведает, что значит дойти до последней стадии самого себя.

Что касается моих сомнений, то я обретал их с трудом; а вот мои разочарования – словно они поджидали меня изначально – пришли сами собой, в качестве исконных озарений.

Давайте сохранять хорошую мину на этом сочиняющем собственную эпитафию земном шаре, давайте вести себя так, как и положено послушным трупам.

Хотим мы того или нет, но мы все являемся психоаналитиками, любителями кальсонно-сердечных тайн, специалистами по погружению в мерзости. И горе тем, чьи глубины подсознания недостаточно черны!

От усталости к усталости мы скользим к самой нижней точке души и пространства, к полной противоположности экстаза, к истокам Пустоты.

Чем больше мы общаемся с людьми, тем чернее становятся наши мысли; а когда, дабы просветить их, мы возвращаемся в свое одиночество, то обнаруживаем там уже отброшенную ими тень.

Лишенная иллюзий мудрость зародилась, наверное, в какую-нибудь геологическую эру: может быть, именно от нее и сдохли динозавры…

В отрочестве от перспективы когда-нибудь умереть я ужасно расстраивался; чтобы преодолеть это расстройство, я бежал в бордель и там взывал о помощи к ангелам. Однако с возрастом привыкаешь к своим страхам, перестаешь что-либо предпринимать, чтобы от них отделаться, по-буржуазному обустраиваешься в своей Бездне. И если было время, когда я завидовал тем жившим в Египте монахам-пустынникам, которые рыли себе могилы, орошая их слезами, то, доведись мне сейчас рыть мою могилу, я ронял бы в нее только окурки.

## Мошенник Бездны

Похожий на мошенника Бездны, я на цыпочках брожу вокруг глубины, выманиваю у нее одно-другое головокружение и смываюсь.

Всякий мыслитель в начале своей карьеры независимо от собственной воли делает выбор в пользу диалектики или же в пользу плакучих ив.



***Битва архангела Михаила с драконом. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюре***

Задолго до того как родились физика и психология, боль уже разлагала материю, а горе – душу.

Испытываешь что-то похожее на неловкость, когда пытаешься представить себе повседневную жизнь великих умов. Что, например, мог делать Сократ часа в два пополудни?

Мы так наивно верим в идеи лишь потому, что забываем, что они были изобретены млекопитающими.

Поэзия, достойная этого имени, начинается с осознания фатальности. Свободны только плохие поэты.

В здании мысли я не нашел ни одной категории, на которой могла бы отдохнуть моя голова. А вот Хаос – что за подушка!

Чтобы наказать других за то, что они более счастливы, чем мы, мы им передаем – за неимением лучшего – наши тревоги. Ибо наши боли, увы, не заразны.

Ничто не утоляет мою жажду сомнений: вот бы заиметь посох Моисея, от прикосновения которого они изливались бы даже из скалы.

Если не считать набухания моего «я», продукта всеобщего застоя, нет никакого средства от приступов меланхолии, от асфиксии в ничтожности, от ужасного ощущения, что ты являешься душой не больше, чем плевка.

Если я извлек из печали так мало идей, то это только потому, что, слишком ее любя, я не мог позволить моему уму упражняться на ней и тем самым обеднить ее.

Философская мода приходит так же, как мода гастрономическая: опровергать идею – это все равно что опровергать какой-нибудь соус.

Каждому аспекту мысли соответствует свой момент, своя суетность: сейчас вот – идея Небытия… Как далеко в прошлое кажутся ушедшими Материя, Энергия, Дух! К счастью, язык богат: каждое поколение может черпать из него и извлекать какую-нибудь вокабулу, столь же важную, как и остальные – напрасно почившие.

Мы все – несерьезные люди: мы остаемся жить после наших проблем.

Во времена, когда Дьявол процветал, страхи, испуги, опасения, паника были неприятностями, пользовавшимися сверхъестественным покровительством: все знали, от кого они исходят и кто способствует их распространению; теперь же, будучи предоставленными сами себе, они оборачиваются «внутренними драмами» или же вырождаются в психозы, в секуляризированную патологию.

Заставляя нас улыбкой приветствовать поочередно идеи тех, чьего внимания мы домогаемся, Нищета низводит наш скептицизм до уровня инструмента добычи средств к существованию.

Растение чуть-чуть поражено; животному удается саморазрушаться; что же касается человека, то у него аномалия всего, что дышит, обострена до предела.

Жизнь! Комбинация химии и оторопи… Удастся ли нам обрести уравновешенность минералов, удастся ли перескочить, пятясь назад, все, что нас от них отделяет, и уподобиться

нормальному камню?

Сколько я себя помню, я только и делал, что разрушал в себе гордость от принадлежности к человеческому роду.

И я бреду на периферию этого рода, подобный боязливому чудовищу, недостаточно решительному, чтобы заявить о своей принадлежности к какой-нибудь другой стае обезьян.

Скука нивелирует загадки: это позитивистская греза…

Бывает такая врожденная тоска, которая заменяет нам и науку, и интуицию.

Столь далеко простирается смерть, так много она занимает места, что я уже даже и не знаю, где мне умереть.

Долг трезвомыслия: достичь корректного отчаяния, добиться олимпийской свирепости.

Счастье встречается столь редко, потому что его обретают после старости, в дряхлости, а эта удача выпадает на долю весьма малого количества смертных.

Наши колебания носят печать нашей честности; наша убежденность в чем-то характеризует нас как обманщиков. Нечестного мыслителя легко узнать по совокупности выдвинутых им ясных идей.

Я погрузился в Абсолют как преисполненный самомнения фат, а вышел из него как троглодит.

Цинизм крайнего одиночества – это мученичество, которое может смягчить наглость.

Смерть выдвигает проблему, заменяющую все остальные проблемы. Что можно придумать более разрушительного для философии, для наивной веры в иерархию недоумений?

Философия служит противоядием грусти. И при этом многие еще верят в глубину философии.

В этом временном мире наши аксиомы не более значимы, чем описываемые в газетах происшествия.

Тоска была обыденным явлением уже во времена пещерного человека. Нетрудно представить себе улыбку неандертальца, когда бы ему пришло в голову, что в один прекрасный день философы будут требовать патент на ее изобретение.

Ошибочность философии состоит в том, что она слишком терпима. Допускать к идеям нужно было бы только людей безвольных, оставляющих их в первозданном виде. Когда ими завладевают люди суетливые, то тихая обыденная путаница преобразовывается в трагедию.

Занятия вопросами жизни и смерти имеют то преимущество, что о том и о другом можно говорить что угодно.

Скептику тоже хотелось бы, подобно всем остальным людям, переживать из-за химер, составляющих жизнь. Но у него это не получается: он мученик здравого смысла.

Аргумент против науки: этот мир не заслуживает того, чтобы его знали.

Как можно быть философом? Как можно сметь покушаться на время, на красоту, на Бога, на все остальное? Ум пыжится, беспардонно перепрыгивает с одного на другое. Метафизика, поэзия – бесцеремонность вши…

Если я еще могу бороться с приступами депрессии, то во имя какой живучести надо мне сопротивляться наваждению, которое мне же и принадлежит, которое идет впереди меня? Когда я здоров, то я выбираю ту дорогу, которая мне нравится, тогда как, «пораженный» этим недугом, я уже ничего не решаю: за меня решает моя болезнь. У одержимых нет выбора: их наваждение сделало выбор за них, до них. Себя можно выбирать, располагая недифференцированными возможностями, тогда как определенность недуга опережает реакцию выбирающего тот или иной из путей. Спрашивать себя о собственной свободе или несвободе – вздор в глазах человека, увлекаемого калориями своих психозов. Для него превозносить свободу – значит обнаруживать вопиющее здоровье. Свобода? Софизм не знакомых с немощами людей.

Предрасположенный к тоске человек, не ограничиваясь реальными страданиями, обременяет себя еще и воображаемыми; для него ирреальность реальна и должна существовать; а то откуда же ему черпать необходимые его натуре переживания?

Почему бы мне не поставить себя в один ряд с самыми знаменитыми святыми? Разве я затратил меньше безумия на то, чтобы сохранить мои противоречия, чем они – на то, чтобы преодолеть свои?

Когда Идея искала себе пристанище, наверное, она была тронута червоточиной, коль скоро ее согласился принять лишь человеческий мозг.

Техника психоанализа, используемая нами во вред себе, снижает качество наших опасностей, нависших над нами угроз, готовых разверзнуться под нами бездн; отнимая у нас наши непристойности, она лишает нас всего, что пробуждало в нас интерес к самим себе.

…То, что проблемы не находят разрешения, тревожит лишь незначительное меньшинство; а вот то, что чувства не находят выхода, что они ни к чему не ведут, теряются в самих себе, является подсознательной драмой всех; от этой эмоциональной безысходности, не отдавая себе отчета, страдают все.

Углублять какую-либо идею – значит вредить ей, отнимая у нее ее очарование, а следовательно, и жизнь…

С несколько большим запалом в нигилизме мне удалось бы, отрицая все, стряхнуть с себя мои сомнения и победить их. Однако я обладаю лишь предрасположенностью к отрицанию, не обладая его благодатью.

Испытав притяжение крайностей, остановиться где-то на полпути между дилетантизмом и динамитом!

Вовсе не Эволюция, а Невыносимое должно было бы стать любимым коньком биологии.

Моя космогония добавляет к изначальному хаосу бесконечно растянутое многоточие.

Одновременно со всякой идеей, зарождающейся в нас, что-то в нас загнивает.

Любая проблема оскверняет какую-нибудь тайну; в свою очередь, проблема оказывается оскверненной ее решением.

Патетика оказывается признаком дурного вкуса; то же самое можно сказать о сладострастии бунтарства, в котором не отказывали себе ни Лютер, ни Руссо, ни Бетховен, ни Ницше. Звонкие ноты – плебейство одиноких гениев…

Потребность в угрызениях совести предшествует Злу – да что я говорю! – порождает его…

Интересно, смог бы я протянуть хотя бы один день без милосердия моего безумия, обещающего мне, что Страшный суд состоится завтра?

Мы страдаем – внешний мир начинает существовать… Мы страдаем чрезмерно – он исчезает. Боль вызывает его к жизни, чтобы продемонстрировать его нереальность.

Мысль, освобождающаяся от всякой предвзятости, распадается и имитирует несвязность и распыление вещей, которые она хочет охватить. Поток ничем не скованных идей разливается по реальности и «облегает» ее, но не объясняет. В результате приходится дорого платить за «систему», которая вовсе не была предметом твоих вожделений.

От Реального у меня начинается приступ астмы.

Нам бывает неприятно додумывать до конца удручающую нас мысль, даже если она безукоризненна; мы сопротивляемся ей, когда она задевает наше нутро, когда она превращается в недомогание, в истину, в крушение плоти. Я никогда не мог прочитать какую-нибудь проповедь Будды или страницу Шопенгауэра, без того чтобы не впасть в минор…

Тонкость мысли бывает свойственна теологам. Будучи не в состоянии доказать того, что они утверждают, они вынуждены вдаваться в такие подробности, которые сбивают с толку, что, собственно, им и нужно. Какая требуется изобретательность, чтобы классифицировать ангелов по десяткам категорий! О Боге уж и говорить нечего: его «бесконечность», изнуряя мозги, привела многие из них в полную негодность…

В юности человек пытается приобщиться к философии не столько в поисках видения мира, сколько в поисках стимулирующего средства; набрасываясь на идеи, угадываешь безумие их автора и мечтаешь подражать ему, а то и превзойти его. Отрочеству импонирует высотное жонглирование; в мыслителе оно любит бродячего акробата; в Ницше мы любили Заратустру с его позами, его мистической клоунадой, с его ярмаркой вершин…

Его преклонение перед силой объяснялось не столько эволюционистским снобизмом, сколько проецируемым им во внешнюю среду внутренним напряжением, хмельным возбуждением, интерпретирующим будущее и принимающим его. Ни к чему иному, кроме как к искаженному образу жизни и истории, привести это не могло. Но пройти через это, через философскую оргию, через культ жизненной силы было необходимо. Те, кто отказался сделать это, не познают никогда падения с облаков, являющегося противоположностью этого культа, не увидят его гримас; они не припадут к источнику разочарования.

Мы вместе с Ницше верили в непреходящий характер трансов; благодаря зрелости нашего цинизма мы пошли дальше, чем он. Сейчас идея сверхчеловека нам кажется не более чем досужим вымыслом, а ведь когда-то она представлялась нам столь же достоверной, как результат опыта. Итак, обольститель наших юных дней уходит постепенно в тень. Но который из него – если он был несколькими – все еще остается? А остается эксперт по деградации, психолог, психолог агрессивный, а не просто наблюдатель, как моралисты. Он всматривается в людей, как враг, и он создает себе врагов. Но врагов этих он извлекает из себя, так же как и пороки, которые он обличает. Например, когда он обрушивается

с критикой на слабых, он всего лишь занимается интроспекцией, а когда он атакует упадочничество, то это он описывает свое собственное состояние. Все его инвективы оказываются обращенными против него самого. А о своих слабостях он говорит открыто и возводит их в идеал; когда же он занимается самобичеванием, христиане или социалисты могут отдыхать. Диагноз, поставленный им нигилизму, неопровержим: дело в том, что он сам является нигилистом и не скрывает этого. Памфлетист, влюбленный в своих противников, он не смог бы вынести самого себя, если бы он не боролся с самим собой, если бы он не размещал свои беды за пределами собственной личности, в других людях: он мстил им за то, кем он был. Занимаясь психологией как герой, он предлагает страстным поклонникам Безвыходного самые разные варианты тупиков.

Мы оцениваем плодотворность его творчества по тем возможностям, которые он нам дает постоянно его отвергать, не исчерпывая его. Обладая чрезвычайно подвижным умом, он умеет варьировать свои приступы дурного настроения. Буквально обо всем у него есть высказывание и за и против: таков прием тех, кто, будучи не в состоянии писать трагедии, распыляясь на многочисленные судьбы, предаются интеллектуальным спекуляциям. Однако так или иначе, но, продемонстрировав свои кликушества, Ницше помог нам сбросить покров стыдливости с наших собственных кликушеств; его беды оказались для нас спасительными. Он открыл эру «комплексов».

«Великодушный» философ на собственном горьком опыте узнает, что от любой системы остаются только вредоносные истины.

В том возрасте, когда люди по неопытности тянутся к философии, мне захотелось, уподобляясь другим людям, написать диссертацию. Какую придумать тему? Мне хотелось, чтобы это было что-нибудь банальное и одновременно оригинальное. Когда мне показалось, что я наконец нашел то, что нужно, я поспешил сообщить моему учителю:

– Что вы скажете о «Всеобщей теории слез»? Я чувствую, что справился бы с такой работой.

– Возможно, – ответил он, – но вам будет очень трудно составить библиографию.

– Ну, это дело поправимое, – заявил я нахально-торжествующим тоном. – Вся История поддержит меня своим авторитетом.

Однако, поскольку тут он бросил на меня нетерпеливый и пренебрежительный взгляд, я мгновенно решил убить в себе ученика.

В былые времена философ, который не писал, а лишь размышлял, не вызывал презрения; с тех же пор как все простираются ниц перед эффективностью, Абсолютом в глазах вульгарности стало творчество; те, кто такового не производят, считаются «неудачниками». А вот в прежние времена эти «неудачники» выглядели бы мудрецами; не оставив после себя никаких творений, они сумеют искупить вину нашей эпохи.

Наступил час, когда скептик, все поставив под вопрос, уже не знает больше, в чем ему сомневаться; и именно в этот момент он по-настоящему делает свое суждение проблематичным. Что ему остается делать дальше? Развлекаться или погружаться в оцепенение – фривольность или возврат к животному состоянию.

Мне не раз случалось оказываться на пороге угасания сознания, краха разума, в преддверии последней его сцены, но затем кровь моя застывала от новой волны света.

В направлении растительной мудрости: я отринул бы от себя все мои страхи ради улыбки какого-нибудь дерева…

## Цирк одиночества

Никто не может уберечь свое одиночество, если он не умеет сделаться отвратительным.

Я живу только потому, что в моей власти умереть, когда мне вздумается; без идеи самоубийства я бы уже давно свел счеты с жизнью.

Скептицизм, не способствующий разрушению нашего здоровья, является всего лишь интеллектуальным упражнением.

Питать, живя в нужде, злобу тирана, задыхаться от подавляемой в себе жестокости, ненавидеть самого себя за неимением подданных, которых можно изничтожать, за неимением империи, которую можно приводить в ужас, быть неимущим Тиберием…

Что больше всего возмущает в отчаянии, так это его обоснованность, его очевидность, его «документальность»: репортаж, да и только. И напротив, проанализируйте надежду, ее великодушие в заблуждении, ее манию выдавать придуманное за действительность, ее отказ признавать событие: сплошная аберрация, сплошной вымысел. Вот в этой-то аберрации и состоит наша жизнь, питающаяся этим вымыслом.

Цезарь? Дон Кихот? Кого из них двоих я хотел бы в моем самомнении взять в качестве примера для подражания? Не имеет значения. Так или иначе, но в один прекрасный день я отправился из дальней страны завоевывать мир, отправился покорять все недоумения мира…

Когда я из какой-нибудь мансарды смотрю на город, мне представляется столь же почтенным быть в нем священнослужителем, как и сутенером.

Если бы мне пришлось отказаться от моего дилетантизма, я стал бы специализироваться в завываниях.

Молодость кончается тогда, когда перестаешь выбирать себе врагов, а удовлетворяешься теми, кто оказывается под рукой.

Все наши обиды проистекают из того, что, не доросшие до самих себя, мы не смогли с собой соединиться. И вот другим мы этого никогда не прощаем.

Плывя без руля и без ветрил в Неопределенности, я цепляюсь за любую горесть, как за якорь спасения.

Мы рождаемся с такой способностью восхищаться, что и десять других планет не смогли бы ее истощить; а вот земле это удается без малейших усилий.

Проснуться волшебником, преисполненным желания усеять свой день чудесами, а потом упасть на кровать и до вечера предаваться горьким мыслям о любовных неудачах да о денежных затруднениях…

Находясь в контакте с людьми, я совершенно утратил свежесть своих неврозов.

Ничто так не выдает вульгарность в человеке, как нежелание быть разочарованным.

Когда я оказываюсь без гроша в кармане, я стараюсь мысленно представить себе небо звонкого света, являющееся, согласно японскому буддизму, одним из этапов, которые мудрец должен преодолеть, чтобы суметь превозмочь мир, – и, может быть деньги, добавил бы я.

Из всех клеветнических измышлений самым злостным является то, которое нацелено на нашу лень, то, которое подвергает сомнению ее аутентичность.

Когда я был ребенком, мы любили смотреть за работой могильщика. Иногда он бросал нам какой-нибудь череп, которым мы играли в футбол. Это было для нас развлечением, не омрачаемым никакими печальными мыслями.

В течение многих лет я жил в среде священников, на счету у которых были тысячи и тысячи соборований; однако я не видел, чтобы кто-то из них был заинтересован Смертью. Позднее мне удалось понять, что единственный труп, из которого мы можем извлечь какую-то пользу, – это тот, который приготавливается в нас.

Желание умереть было моей единственной, моей исключительной заботой; я принес ему в жертву все, даже смерть.

Как только у животного что-то перестает ладиться, оно начинает походить на человека. Взгляните, например, на разъяренную или больную абулией собаку: можно подумать, что она ждет своего романиста или своего поэта.

Любой глубокий опыт формулируется в терминах, относящихся к физиологии.

Из того, что называется характером, лесть делает марионетку, так что от ее сладости даже самые живые глаза на какое-то мгновение тупеют. Внедряясь глубже, чем болезнь, и поражая в равной мере все железы, все внутренности, сам дух человека, она оказывается единственным имеющимся в нашем распоряжении оружием, дабы порабощать других, деморализовать их и коррумпировать.

В пессимисте сговариваются между собой неэффективная доброта и неудовлетворенная злоба.

Я выпроводил Бога, чтобы сосредоточиться в мыслях на духовном, отделался таким образом от последней надоедливой личности.

Чем плотнее нас обступают несчастья, тем ничтожнее мы становимся, даже походка меняется. Поощряя нас на фиглярство, они душат в нас личность, чтобы пробудить в нас персонажа.

…Кабы не моя наглая вера в то, что я являюсь самым несчастным человеком на земле, я бы уже давным-давно рухнул.

Думать, будто человеку, чтобы разрушить себя, нужен какой-то там ассистент в виде судьбы, – значит сильно оскорблять его… Разве он уже не потратил большую часть себя на то, чтобы уничтожить свою собственную легенду.

В этом его отказе от того, чтобы длиться, в этом его отвращении к самому себе как раз и состоит его оправдание, или, как говорили прежде, его величие.

Зачем нам выходить из игры, зачем нам бросать партию, когда нам нужно еще столько людей разочаровать!

Когда меня одолевают страсти, приступы веры или же приступы нетерпимости, я с удовольствием бы вышел на улицу сражаться за дело Неопределенности и умереть там самоотверженно, защищая принцип, имя которому – Может быть.

Ты мечтал поджечь мир, а не получилось передать свой огонь далее словам, зажечь

хотя бы одно-единственное слово!

Поскольку мой догматизм оказался растраченным на ругательства, то что мне остается делать, как не быть скептиком?

Посреди моих серьезных штудий я вдруг сделал открытие, что когда-нибудь умру; моей скромности это не пошло на пользу. Убежденный, что ничего нового мне уже узнать больше не удастся, я бросил учебу, дабы поведать всему миру о своем столь замечательном открытии.



***Зверь с семью головами и зверь с рогами агнца. Из серии гравюр «Апокалипсис».***

*Художник Альбрехт Дюре*

Несостоявшийся адепт позитивных ценностей, Разрушитель в своем простодушии верит, что истины стоят того, чтобы их разрушать. Но ведь это же всего лишь инженер наоборот, всего лишь педант вандализма, нечто вроде заблудшего евангелиста.

Старея, человек учится обменивать свои страхи на свои ухмылки.

Не спрашивайте у меня, какая у меня программа, ведь нельзя же назвать таковой совет дышать.

Лучший способ отдалиться от других людей – это призвать их наслаждаться нашими поражениями; в результате наша ненависть будет обеспечена им до конца наших дней.

«Вам надо было бы работать, зарабатывать на жизнь, накапливать силы». Мои силы? Я их растрачивал, я их все употребил на то, чтобы стереть все следы божьего присутствия… И вот теперь я останусь навсегда незанятым.

Любое действие льстит живущей в нас женщине.

В момент крайней слабости мы вдруг улавливаем сущность смерти; подобное не поддающееся описанию пограничное восприятие сбивает с толку метафизику; пограничное восприятие, не поддающееся описанию; метафизическое замешательство, которое не увековечишь в словах. Становится понятным, почему в этой области восклицания какой-нибудь неграмотной старухи объясняют нам больше, чем жаргон философа.

Природа создала индивидов лишь затем, чтобы облегчить Боли ее ношу, чтобы помочь ей рассредоточиться за их счет…

В то время как для того, чтобы соединить вместе удовольствие и осознание удовольствия, необходима чувствительность человека с обнаженными нервами или же долгая традиция порока, боль и осознание боли смешиваются без труда даже у идиота.

Ловко увильнуть от страдания, низвести его до уровня сладострастия – вот оно, мошенничество интроспекции, вот он, маневр деликатных натур, дипломатия стенаний.

Наше положение по отношению к солнцу меняется столь часто, что я уж и не знаю, как мне дальше с ним обращаться.

Прелесть в жизни обнаруживаешь только тогда, когда уклоняешься от обязанности иметь судьбу.

Чем с большим безразличием я отношусь к людям, тем больше они меня волнуют; а уж когда я презираю их, то приближаюсь к ним не иначе как заикаясь.

Если бы кому-то вздумалось выжать мозг сумасшедшего, то жидкость, которая оттуда вылилась бы, показалась бы сиропом по сравнению с желчью, выделяемой некоторыми печалями.

Пусть никто не предпринимает попытки жить, не получив предварительно воспитания жертвы.

Застенчивость является не столько защитной реакцией, сколько техникой, постоянно совершенствующейся благодаря мании величия не оцененных по достоинству людей.

Если человеку не выпало счастье иметь алкоголиков-родителей, нужно травить себя всю жизнь, чтобы перебороть тяжелую наследственность их добродетелей.

Ну можно ли с честью рассуждать о чем-либо еще, кроме как о Боге или о себе?

Запах живой твари выводит нас на след зловонного божества.

Если бы у Истории была какая-то цель, сколь жалким был бы наш удел, удел тех, кто ничего не совершил! А вот при всеобщем отсутствии смысла мы, никчемные перекати-поле, мы, оказавшиеся правыми канальи, можем гордо задирать голову.

Какое беспокойство испытываешь, когда ты не уверен в своих сомнениях и все время себя спрашиваешь: а сомнения ли это?

Тот, кто не смирял свои инстинкты, кто не подвергал себя продолжительному половому воздержанию со всеми вытекающими из него патологиями, тому никогда не постичь ни язык преступления, ни язык экстаза: он никогда не поймет ни наваждений маркиза де Сада, ни наваждений Хуана де ла Круса.

Малейшая зависимость, будь то даже зависимость от желания умереть, разоблачает нашу верность самозванству нашего «я».

Когда вас начинает искушать Добро, пойдите на рынок, выберите в толпе какую-нибудь старуху, самую обиженную судьбой, и наступите ей на ногу. А затем, разозлив ее таким способом и ничего ей не говоря, смотрите на нее, дабы она смогла, благодаря злоупотреблению прилагательными, хотя бы на мгновение почувствовать себя счастливой.

Стоит ли избавляться от Бога, чтобы вернуться к самому себе? Кому нужна эта замена одной падали на другую?

Нищий – это такой бедняк, который в своей жажде приключений расстается с бедностью, чтобы поскитаться по джунглям сострадания.

Нельзя избежать зрелища присущих человеку пороков, не уклоняясь от зрелища его добродетелей. Вот и получаются сплошные терзания от собственного благоразумия.

Без надежды на еще большую боль я не смог бы выдержать ту, что испытываю в настоящий момент, даже если бы она была бесконечной.

Надеяться – значит опровергать будущее.

Бог испокон веков выбирал за нас все, вплоть до галстуков.

Без исключительного внимания к побочным основаниям нет действия, нет никакой надежды преуспеть. «Жизнь» – это занятие для насекомых.

Упорства, которое я проявил в моей борьбе с магией самоубийства, мне с лихвой хватило бы, чтобы обрести вечное спасение, чтобы буквально раствориться в Боге.

Когда у нас исчезают вообще все стимулы, нам является хандра, наше последнее стрекало. Не в силах уже обходиться без нее, мы ищем ее и в развлечениях, и в молитвах. И мы так боимся лишиться ее, что присказка: «О, дайте же нам нашу ежедневную порцию хандры» – становится рефреном всех наших чаяний и упований.

Как бы привычны ни были духовные упражнения, думать больше двух-трех минут в день не представляется возможным, если, конечно, не взять себе за правило из склонности ли или же во имя профессионального долга терзать часами слова, дабы извлекать из них идеи.

Интеллигент – это самая страшная напасть, кульминационное поражение того, что мы называем homo sapiens.

Питать иллюзию, будто я никогда не оказывался в дураках, я могу лишь на том основании, что, любя что-либо, я всегда испытывал к этому же предмету еще и ненависть.

Как бы мы ни погрязали в пресыщениях, мы все равно останемся лишь карикатурами нашего предшественника Ксеркса. Не он ли специальным эдиктом пообещал награду любому, кто изобретет какое-нибудь новое сладострастие? Это было наиболее созвучное нашим временам деяние во всей античности.

Чем больше опасностей грозит духу, тем сильнее он ощущает потребность казаться поверхностным, прятаться под маской фривольности, множить заблуждения на свой счет.

Преодолевшему тридцатилетний рубеж следовало бы интересоваться событиями не больше, чем астроном интересуется разного рода пересудами.

Только идиоту вольно дышится.

С возрастом ослабевают не столько наши умственные способности, сколько та способность отчаиваться, очарование и комичность которой мы в молодые годы не в состоянии оценить.

Как жаль, что на пути к Богу нужно непременно пройти через веру!

Жизнь – что за претенциозность материи!

Довод против самоубийства: ну разве можно так вот неэлегантно покидать мир, который столь охотно служит нашей печали?

Сколько ни накачивайся алкоголем, все равно не достигнешь самоуверенности того креза из психиатрической лечебницы, который говорил: «Чтобы пребывать в полном покое, я купил весь воздух без остатка и превратил его в свою собственность».

Чувство неловкости в присутствии смешного человека возникает у нас оттого, что мы не можем представить себе его на смертном ложе.

Кончают с собой только оптимисты, утратившие возможность оставаться таковыми впредь. Ведь какой смысл умирать тем, кто не видит смысла в жизни?

Кто такие желчные люди? Да просто те, кто берет реванш за свои веселые мысли, высказанные во время общения с другими людьми.

Я ничего не знал о ней; тем не менее наша беседа приняла мрачный оборот: рассуждая о море, я высказался вполне в духе Екклесиаста. И каково же было мое удивление, когда, выслушав мою тираду об истерии волн, она обронила: «Нехорошо это – умиляться над самим собой».

Горе неверующему, который для борьбы со своими бессонницами не располагает ничем, кроме жалкого набора молитв!

Случайно ли то, что все, кто открывал мне глаза на смерть, были отбросами общества?

Для сумасшедшего хорош любой козел отпущения. На свои поражения он смотрит как обвинитель; предметы ему кажутся такими же виноватыми, как и люди, – кого хочу, того и осыпаю упреками. Бред – это экономика в развитии, поскольку при умалении наших прав мы сосредоточиваемся на наших поражениях, судорожно цепляемся за них, будучи не в силах обнаружить их корни и их смысл; а вот здравый смысл обрекает нас на экономику замкнутого типа, загоняет нас в автаркию.

«Не стоит, – говорили вы мне, – ругать то и дело установившийся порядок вещей». Но моя ли вина в том, что я оказался всего лишь жалким рекрутом невроза, Иовом, ищущим свою проказу, липовым Буддой, всего лишь ленивым, сбившимся с пути скифом?

Сатира и вздохи, как мне представляется, стоят друг друга. Что памфлет раскроешь, что какое-нибудь пособие для умирающих – все там верно… С непринужденностью жалостливости принимаю я все истины и растворяюсь в словах.

«Ты будешь объективен!» – проклятие нигилиста, который верит во все.

Будто какая-то крыса проникла в наш мозг, когда мы находились в апогее наших разочарований, и принялась там мечтать.

От заповедей стоицизма не приходится ждать, что они приучат нас к мысли о пользе унижения и ударов судьбы. Все учебники нечувствительности слишком рациональны. А вот если бы каждому хоть немного побыть в шкуре клошара? Облачиться в лохмотья, стать на перекрестке с протянутой рукой, терпеть презрения прохожих или благодарить их за кинутый ими обол – какой урок! Или, скажем, выйти на улицу и начать оскорблять незнакомых людей, получать в ответ пощечины…

Я долгое время посещал суды с единственной целью – понаблюдать там за рецидивистами, полюбоваться их чувством превосходства над законом, их готовностью к деградации. А при этом они выглядят еще сущими младенцами в сравнении с проститутками, держащимися в зале суда просто чудо как непринужденно. Такая отстраненность не может не удивлять: ни малейшего самолюбия – оскорбления не причиняют им боли, и никакое определение их не ранит. Их цинизм – своеобразная форма их честности. Например, величественно-отвратительная семнадцатилетняя девица отвечает судье, пытающемуся вырвать у нее обещание сменить профессию: «Этого, господин судья, я вам обещать не могу».

Оценить пределы своих сил можно только в унижении. Чтобы утешиться за неиспытанный позор, нам следовало бы оскорблять самих себя, плевать в зеркало, дожидаясь момента, когда нас почтит своей слюной публика. Да хранит нас Господь от блистательной судьбы.

Я столько лелеял идею рока, столько подпитывал ее ценой огромных жертв, что она в конечном счете стала реальностью: из абстракции, каковой она была, она сделалась плотью, которая трепещет, возвышается передо мной и подавляет меня мною же подаренной ей жизнью.

## Атрофия слова

Воспитанные на робких поползновениях, боготворящие фрагмент и знак, мы принадлежим клинической эпохе, когда в расчет принимаются лишь случаи. Нам интересно лишь то, что писатель умолчал, лишь то, что он мог бы сказать, нас привлекают лишь его безмолвные глубины. Если после него остается творчество, если он был внятен, наше

забвение ему обеспечено.

Вот она, магия несостоявшегося художника, магия неудачника, растранжирившего свои разочарования и не сумевшего заставить их плодоносить.

Столько страниц, столько книг, являвшихся источниками наших волнений, которые мы теперь перечитываем, чтобы изучать в них свойства наречий или особенности прилагательных!

В глупости есть некая серьезность, которая, если ее получше сориентировать, могла бы приумножить количество шедевров.

Без наших сомнений относительно нас самих наш скептицизм был бы бессмысленным, был бы ни к чему не обязывающей условностью, чем-то вроде философского учения.

Что касается «истин», то мы больше уже не хотим терпеть их груз, не хотим больше быть ни их жертвами, ни их пособниками. Я мечтаю о таком мире, где люди были бы согласны умереть ради одной-единственной запятой.

Как же я люблю мыслителей второго ряда, которые из деликатности жили в тени чужого гения и, опасаясь обнаружить его в себе, добровольно от него отказывались!

Если бы Мольер стал всматриваться в свои глубины, то Паскаль со своей глубиной показался бы просто журналистом.

Убежденность убивает стиль: тяга к красноречию – удел тех, кто не может забыться в вере. За неимением прочной опоры они цепляются за слова – подобия реальности, в то время как другие, сильные своими убеждениями, презирая видимость слов, наслаждаются комфортом импровизации.

Остерегайтесь тех, кто поворачивается спиной к любви, к честолюбию, к обществу. Они отомстят за то, что от всего этого отказались.

История идей – это история обид одиноких людей.

…В наши дни Плутарх написал бы «Параллельные жизнеописания Неудачников».

Английский романтизм был удачной смесью шафранно-опийной настойки, изгнания и чахотки; немецкий романтизм – алкоголя, провинции и самоубийства.

Есть такие писатели, которым очень бы впору пришелся какой-нибудь немецкий городишко в эпоху романтизма. Так легко себе представить, скажем, Жерара фон Нерваля, жившим где-нибудь в Тюбингене или в Гейдельберге!

Выносливость немцев не знает границ, причем даже в безумии: Ницше терпел свое безумие одиннадцать лет, Гельдерлин – сорок.

Лютер, предвосхищение современного человека, вобрал в себя все виды неуравновешенности; Паскаль сосуществовал в нем с Гитлером.

«Приятно лишь истинное». Отсюда проистекают все изъяны Франции, ее отказ от Расплывчатости и от Полумрака.

Не столько Декарту, сколько Буало следовало бы довлеть над этим народом и подвергать цензуре его гений.

Ад достоверен, как протокол.

Чистилище столь же фальшиво, как вообще любая ссылка на Небеса.

Рай – набор фантазии и пошлостей…

Трилогия Данте представляет собой самую удачную реабилитацию дьявола, когда-либо предпринятую христианином.

Шекспир – встреча розы и топора…

Загубить свою жизнь – значит приобщиться к поэзии, не прибегая к помощи таланта.

Только поверхностные мыслители обращаются с идеями деликатно.

Упоминание административных невзгод среди мотивов в пользу самоубийства кажется мне самым глубоким из всего сказанного Гамлетом.

Поскольку способы выражения износились, искусство стало ориентироваться на нонсенс, на внутренний некоммуникабельный мир. Трепетание внятного, будь то в живописи, в музыке или в поэзии, вполне обоснованно кажется нам устаревшим или вульгарным. Публика скоро исчезнет, а за ней исчезнет и само искусство.

Цивилизации, начавшейся со строительства храмов, суждено завершать свое существование в герметизме шизофрении.

Когда мы находимся за тысячу верст от поэзии, мы в ней участвуем, участвуем, когда нами внезапно овладевает желание завыть, являющееся последней стадией лиризма.

Быть Раскольниковым, не оправдываясь потребностью в убийстве.

Афоризмы сочиняют только люди, испытавшие страх среди слов, страх погибнуть вместе со всеми словами.

Как жаль, что мы не можем вернуться в те века, когда живым существам не чинили помехи никакие вокабулы, вернуться к лаконизму восклицаний, к блаженству неразумия, к радостному безъязыкому изумлению.

Быть «глубоким» легко: для этого достаточно окунуться в море собственных изъянов.

Любое произнесенное слово причиняет мне боль. А ведь как было бы приятно послушать рассуждения цветов о смерти!

Модели стиля: ругательство, телеграмма и эпитафия.

Романтики были последними специалистами в области самоубийства. После них здесь все делается кое-как… И чтобы повысить качество самоубийств, нам явно необходима какая-нибудь новая болезнь века.

Снять с литературы ее румяна, дабы увидеть ее истинное лицо, было бы столь же рискованно, как лишить философию ее тарабарщины. А вдруг все творения духа сведутся к иначе представленным пустякам. А субстанция – нечто существенное – вдруг обнаружится лишь за пределами членораздельной речи – в гримасе или в каталепсии.

Книга, которая, разрушив все, сама не разрушится, не должна вызывать у нас гнева.

Раздробленные монады, мы приблизились к завершению эры осторожных печалей и предсказуемых аномалий; есть много признаков того, что грядет всевластие безумия.

«Истоки» писателя – это не что иное, как его темные пятна; тот, кто не обнаруживает их в себе или вообще считает, что ему нечего стыдиться, обречен заниматься плагиатом или критикой.

Любой западный человек, испытывающий муки совести, выглядит как герой Достоевского, имеющий счет в банке.

Смертоубийство требует от хорошего драматурга тонкого чутья; ну кто после елизаветинцев умеет убивать своих персонажей?

Нервная клетка уже настолько ко всему привыкла, что надо навсегда расстаться с надеждой на появление в будущем такого безрассудства, которое, проникнув в мозги, разнесло бы их вдребезги.

После Бенжамена Констана еще никому не удалось правильно воспроизвести тональность разочарования.

Тому, кто усвоил рудименты мизантропии, дабы двигаться дальше, нужно пойти на выучку к Свифту: только после этой школы он поймет, как придавать своему презрению к людям интенсивность невралгии.

С Бодлером физиология вошла в поэзию, с Ницше – в философию. Благодаря им названия недугов, поражающих человеческие органы, зазвучали как песнь, обрели статус мыслительных категорий. Им, изгнанникам здоровья, выпало на долю возвеличивать болезнь.

Тайна – слово, которым мы пользуемся, чтобы обманывать других людей, чтобы заставить их поверить, что в нас больше глубины, чем в них.

Если Ницше, Прусту, Бодлеру или Рембо удалось пережить все колебания моды, то обязаны они этим своей бескорыстной жестокости, своей дьявольской хирургии, обилию своей желчи. Если что и обеспечивает долгую жизнь творчеству того или иного писателя, если что и не позволяет ему устаревать, так это его свирепость. Голословное утверждение? А вы задумайтесь о престиже, которым пользуется Евангелие, книга агрессивная, книга ядовитая, каких надо еще поискать.

Публика набрасывается на авторов, имеющих репутацию «гуманистов»; она ведь знает, что тут ей нечего опасаться: остановившиеся, как и она сама, на полпути, они предложат ей какой-нибудь компромисс с Невозможным, какое-нибудь связное видение Хаоса.

Нередко словесная разнузданность порнографов проистекает из избытка стыдливости, из застенчивости, не позволяющей им выставлять напоказ свою «душу», а главное, называть ее своим именем: более неприличного слова нет ни в одном языке.

В конце концов, вполне возможно, что за видимостью скрывается какая-то реальность, но глупо надеяться на то, что язык в состоянии ее описать. А тогда зачем обременять себя каким-нибудь мнением вместо какого-нибудь другого, отступать перед банальным или бессмысленным, перед необходимостью говорить и писать, что в голову взбредет? Минимум благоразумия заставил бы нас защищать одновременно все точки зрения в эклектизме улыбки и разрушения.

Страх перед бесплодием заставляет писателя производить сверх отпущенных ему ресурсов и добавлять к пережитым измышлениям многие другие, заимствованные

или сфабрикованные. Под «Полным собранием сочинений» покоится обманщик.

Пессимисту приходится каждый день придумывать все новые и новые оправдания своему существованию: он является жертвой «смысла» жизни.



***Вавилонская блудница. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюре***

Макбет – это стоик преступления, Марк Аврелий с кинжалом.

Духу свойственно крупно наживаться на поражениях плоти. Он обогащается

в ущерб ей, грабит ее, злорадствует при виде ее несчастий, в общем, ведет себя с ней совершенно по-бандитски. Так что цивилизация обязана своими успехами подвигам разбойника.

«Талант» – это самое надежное средство все исказить, представить все в ложном свете и составить неверное представление о самом себе. Истинным является существование только тех людей, которых природа не обременила никаким дарованием. Поэтому трудно себе представить мир более фальшивый, чем литературный мир, и более далекого от реальности человека, чем писатель.

Спасение невозможно, а если и возможно, то лишь в имитации молчания. Все дело, однако, в том, что говорливость наша – дородовая. Раса фразеров, раса велеречивых специалистов – мы просто химически связаны со Словом.

…Погоня за знаком в ущерб означаемому предмету; язык, воспринимаемый как самоцель, как конкурент «действительности»; словесная мания даже у философов – признаки цивилизации, где синтаксис восторжествовал над Абсолютом, а грамматик – над мудрецом.

Гете, безупречный художник, является нашим антиподом, примером для других. Чуждый незавершенности, этому современному идеалу совершенства, он не желал понимать опасностей, подстерегающих других людей; свои же собственные опасности он ассимилировал до такой степени, что совсем от них не страдал. Его светлая судьба обескураживает нас; после тщетных копаний в ней с целью обнаружить там возвышенные или низменные секреты мы вынуждены согласиться с Рильке, сказавшим: «У меня просто нет такого органа чувств, чтобы воспринимать Гете».

XIX век достоин всяческой хулы уже хотя бы за то, что он дал такую власть отродью толкователей, этих машин для чтения, что он потворствовал этому изъяну духа, воплощением го является Профессор – символ упадка цивилизации, дурного вкуса и примата старания над капризом.

Видеть все извне, систематизировать несказанное, ни на что не смотреть прямо, инвентаризировать взгляды других!.. Любой комментарий какого бы то ни было произведения либо плох, либо бесполезен, так как все опосредованное бессодержательно.

В былые времена профессора корпели главным образом над теологией. У них хотя бы было то оправдание, что они ограничивались Богом, тогда как в нашу эпоху буквально ничто не ускользает от их убийственной компетенции.

Что отличает нас от наших предшественников, так это наша бесцеремонность в обращении с Тайной. Мы ее даже переименовали, в результате чего на свет появился Абсурд…

Подлоги стиля: придавать обыденным печалям необычный оборот, приукрашивать мелкие несчастья, набрасывать покровы на пустоту, существовать через слово, через фразеологию вздоха или сарказма!

Просто невероятно, что перспектива заполучить себе биографа никого не заставила отказаться от обладания жизнью.

Будучи достаточно наивным, чтобы отправиться на поиски Истины, я когда-то приобщился – впустую – ко многим дисциплинам. Я начал было уже утверждаться в скептицизме, когда мне пришла в голову идея испросить в качестве последнего средства совета у Поэзии: кто знает, может, именно она мне и нужна, может, за ее произволом прячется какое-нибудь окончательное откровение? Тщетные потуги! Оказалось, что она продвинулась в отрицании еще дальше, чем я, что заставило меня отказаться даже от моих

сомнений…

Что за уныние аромат Слова для того, кто вдохнул запах Смерти!

Поскольку порядок вещей предполагает поражения, вполне естественно, что выгоду от них получает Бог. Благодаря снобам, которые жалеют его или третируют, он все еще остается в моде. Однако как долго продлится этот интерес к нему?

«У него был талант, однако никто им уже не занимается. Он забыт. И поделом: он не сумел принять меры предосторожности, чтобы оказаться неправильно понятым».

Ничто не иссушает дух так, как его отвращение к вынашиванию расплывчатых идей.

Чем занимается мудрец? Его занятия сводятся к тому, что он видит, ест и т. п., то есть невольно смиряется с этой «раной о девяти отверстиях», каковой, согласно Бхагавад-гите, является человеческое тело. Мудрость? Достойно переносить унижение, навязываемое нам нашими дырами.

Поэт: хитрец, который умеет забавы ради изнывать от тоски, который корпит над своими замешательствами и доставляет себе их любыми средствами. А затем наивные потомки умиляются, вспоминая его…

Почти все произведения созданы с помощью внезапного дара имитации, заимствованных волнений и украденных экстазов.

…Пространная по самой своей сущности, литература живет, питаясь избыточной кровью вокабул, питаясь раковой опухолью слова.

Европа не располагает достаточным количеством руин, чтобы в ней процветал эпос. Однако есть все основания предполагать, что из зависти к Трое она захочет пойти по ее следам и сумеет предложить такие значительные темы, которые окажется не под силу освоить ни роману, ни поэзии.

Я бы охотно записался в последователи Омара Хайяма и разделил бы с ним его безграничную печаль; но он все же верил в вино.

Лучшим, что во мне есть, тем крошечным лучиком света, который отдаляет меня от всего, я обязан моим редким беседам с несколькими отчаявшимися мерзавцами, с несколькими безутешными мерзавцами, которые, оказавшись жертвами строгости собственного цинизма, были уже не в состоянии привязаться ни к одному пороку.

Жизнь, эта фундаментальная ошибка, является еще в большей степени доказательством плохого вкуса, которому не в силах помочь ни смерть, ни даже поэзия.

В этой «огромной общей спальне», как названа вселенная в одном даоистском тексте, кошмар является единственным способом трезвомыслия.

Не приобщайтесь к Словесности, если, обладая полной потемок душой, вы одержимы ясностью. Вы оставите после себя лишь внятные вздохи, осколки вашего нежелания быть самим собой.

В интеллектуальных переживаниях есть некая сдержанность, которой было бы бессмысленно требовать от сердечных треволнений.

Скептицизм – это элегантная форма тоски.

Быть современным – значит кустарничать в Неисправимом.

Трагикомедия ученика: дабы перещеголять моралистов, которые учили меня дробить мысль на мелкие фрагменты, я измельчил свою собственную мысль до пыли.

## О музыке

Родившись с обыкновенной душой, я попросил у музыки другую душу: это стало началом неожиданных несчастий…

Без империализма понятий музыка заняла бы место философии: это был бы рай невыразимой очевидности, своего рода эпидемия экстазов.

Бетховен подпортил музыку: введя в нее скачки настроений, он позволил проникнуть в нее гневу.

Без Баха теология оказалась бы лишенной предмета, Творение превратилось бы в фикцию, а небытие сделалось бы несомненной реальностью.

Если есть на свете кто-то, всем обязанный Баху, так это, несомненно, Бог.

Чего стоят все мелодии по сравнению с мелодией, которую заглушает в нас совокупная невозможность жить и умереть!

Зачем обращаться к Платону, если иной мир можно увидеть и с помощью саксофона?

Беззащитный перед музыкой, я терплю ее деспотизм и, подчиняясь ее произволу, превращаюсь то в бога, то в ничтожество.

Было время, когда не в силах представить себе, как бы это вечность могла разлучить меня с Моцартом, я переставал бояться смерти. И так происходило со всеми музыкантами, со всей музыкой…

Шопен возвел фортепьяно в ранг чахотки.

Мир звуков: ономатопея несказанного, развернутая во времени загадка, воспринимаемая и неуловимая бесконечность… Когда попадаешь под его чары, в сознании остается только одно намерение – намерение дать себя забальзамировать в музыкальной паузе.

Музыка – это пристанище душ, уязвленных счастьем.

Нет такой истинной музыки, которая не позволяла бы ощутить на ощупь время.

Нынешняя бесконечность, являющаяся нонсенсом для философии, – это сама реальность, сама сущность музыки.

Если бы я поддался лести музыки, откликнулся бы на ее призыв, поверил бы во все те миры, которые она построила и разрушила во мне, я бы уже давно потерял от гордости рассудок.

Немецкая музыка – геометрия осени, алкоголь понятий, метафизическое опьянение – родилась из тяги Севера к иному небу.

А вот Италии прошлого века – ярмарке звуков – не хватало ночного измерения,

искусства выжимать сущность из теней.

Нужно выбирать между Брамсом и Солнцем…

Музыка, эта система прощаний, похожа на физику, исходной точкой которой являются не атомы, а слезы.

Быть может, я слишком много поставил на музыку, быть может, я не принял необходимые меры предосторожности против трюкачества возвышенного, против шарлатанства несказанного…

От некоторых моцартовских анданте исходит нечто похожее на эфирную скорбь, на тоскливую грезу о похоронах в другой жизни.

Когда даже музыка не в силах нас спасти, перед глазами вдруг появляется блеск кинжала; тут уж у нас не остается никакой опоры, кроме разве что непреодолимого желания совершить преступление.

Как же я хотел бы погибнуть от музыки в наказание за то, что порой я сомневался во всесилии ее колдовской власти!

## Живучесть любви

Скуке предаются только натуры эротичные, заранее разочарованные в любви.

Уходящая любовь представляет собой настолько богатое философское испытание, что любой парикмахер благодаря ему делается соперником Сократа.

Что такое искусство любви? Это умение сочетать темперамент вампира со сдержанностью анемоны.

В поисках мук, в тяге к страданиям с мучеником может сравниться разве что ревнивец. Однако если первого канонизируют, то второго высмеивают.

Онан, Сад, Мазох – ну и счастливчики же! Их имена, как и их подвиги, никогда не устареют.

Живучесть любви: было бы несправедливо злословить по поводу чувства, которое пережило и романтизм, и биде.

Кончающий жизнь самоубийством из-за какой-нибудь стервы обретает более глубокий опыт, чем какой-нибудь герой, потрясающий воображение всего мира.

Кто стал бы растрачивать свои силы в постели, зная, что утратит там свой рассудок не на секунду-другую, а на всю жизнь?

Иногда я мечтаю о любви далекой и туманной, будто шизофрения какого-нибудь аромата…

Чувствовать свой собственный мозг столь же вредно для мыслительной способности, как и для половой потенции.

Внутри любого желания постоянно ссорятся между собой монах и мясник.

Одни только притворные страсти, одни только симуляции исступлений как-то соотносятся с разумом и самоуважением; искренние же чувства предполагают полное пренебрежение к собственной личности.

Окажись Адам счастливым в любви, он не обременил бы нас Историей.

Я всегда подозревал, что в молодости у Диогена были неприятности на любовном поприще: без пособничества венерической болезни или какой-нибудь неуступчивой горничной на путь зубоскальства не становятся.

Есть такие достижения, которые обычно прощают только самим себе: ну не потянешься же ты пожимать руку человеку, которого мысленно представил себе громко и весьма характерно хрюкающим в экстазе.

Плоть и милосердие – вещи несовместимые: оргазм даже святого превратит в дикого волка.

После метафор – аптека. Так превращаются в прах великие чувства.

Начинать с поэзии, а заканчивать гинекологией! Из всех состояний состояние любовника наименее завидное.

Идешь войной на великих и одновременно падаешь ниц перед душком, идущим от неопрятной девки… Разве не бессильна гордость перед литургией запахов, перед зоологическим фимиамом?

Представить себе любовь более целомудренную, чем весна, которая – в отчаянии от блудливости цветов – плакала бы, склонившись к питающим их корням…

Я могу понять и оправдать аномалии и в любви, и во всем прочем; но в моем мозгу никак не укладывается то, что и среди дураков тоже бывают импотенты.

Сексуальность: настоящая балканизация тел, разложение их на фрагменты, хирургия и прах, превращение в животное только что казавшегося святым человека, треск от смешного и незабываемого обрушения…

И в сладострастии, и в паническом страхе мы возвращаемся к своим истокам; для шимпанзе, несправедливо удаленного, наступает наконец – пока длится крик – момент славы.

Тот, кто привносит в сексуальность иронию, пусть даже самую минимальную, компрометирует практику половых отношений и выглядит саботажником рода людского.

Две горемычные жертвы, восхищенные собственными мучениями, обильно потеющие и издающие различные звуки. Ну а церемониал, подсказанный нам серьезностью чувств и основательностью телесных потребностей!

Смех в самый разгар сладострастных стонов – вот единственный способ поспорить с зовом крови, с торжеством биологии.

Кому не приходилось выслушивать признания того или иного несчастного, рядом с которым сам Тристан может показаться заурядным сводником?

Достоинство любви состоит в лишенной иллюзий привязанности, сохраняющейся

и после момента слюнотечения.

Если бы только импотенты знали, насколько природа оказалась по-матерински благосклонной к ним, они благословили бы сон своих желез и хвастались бы им на всех перекрестках.

С тех пор как у Шопенгауэра возникла нелепая идея ввести сексуальность в метафизику, а у Фрейда – поставить на место сквернословия псевдонауку наших расстройств, от первого встречного можно ожидать, что он станет делиться с нами своими мыслями о «значении» своих подвигов, о своей робости и своих успехах. С этого начинаются все исповеди, и этим же заканчиваются все разговоры. Скоро наше общение с другими людьми сведется к констатации их реальных или вымышленных оргазмов… Такова судьба нашей расы, опустошенной самоанализом и анемией, – воспроизводиться в словах, кичиться своими ночами, преувеличивая случившиеся в них триумфы и поражения.

Чем меньше у человека остается иллюзий, тем больше он рискует, вдруг влюбившись, превратиться в простачка.

Перед мужчиной и женщиной открываются два пути: свирепость или безразличие. Все нам подсказывает, что они выберут второй путь, что между ними не будет ни объяснения, ни разрыва, что они просто будут продолжать отдаляться друг от друга, что педерастия и онанизм, предлагаемые школами и храмами, овладеют массами, что многие упраздненные было пороки вновь обретут силу и что на смену производительности конвульсивных движений и проклятию супружеской жизни придут научные приемы.

Смесь анатомии и экстаза, апофеоз неразрешимого, идеальная пища для булимии разочарования, Любовь тянет нас на самое дно славы…

А мы все-таки по-прежнему продолжаем любить… и это «все-таки» покрывает собой бесконечность.

## Время и ангел

Как же она мне близка, та безумная старуха, которая бежала за временем, которая пыталась поймать клочок времени.

Между плохим качеством нашей крови и нашим дискомфортом в длительности существует связь: сколько белых кровяных телец, столько же и пустых мгновений… И не проистекают ли наши сознательные состояния из обесцвечивания наших желаний?

Когда посреди бела дня оказываешься охваченным приятным испугом от внезапного головокружения, то даже не знаешь, чему его приписать: крови ли, лазури ли или же анемии, располагающейся на полпути между тем и другим?

Бледность показывает нам, до какой степени тело может понимать душу.

С венами, отягченными ночными бдениями, ты не более уместен среди людей, чем эпитафия в центре цирка.

В наиболее тягостные моменты Нелюбознательности даже о приступе эпилепсии начинаешь думать как о земле обетованной.

Страсть действует тем разрушительнее, чем неопределеннее выглядит ее предмет; моей

страстью была Скука: меня погубила ее неотчетливость.

Время мне заказано. Неспособный вписаться в его ритм, я цепляюсь за него или же созерцаю его, но никогда не нахожусь в нем: оно – не моя стихия. И я тщетно возлагаю кое-какие надежды на время других людей.

Если вера, политика или скотство в состоянии хоть как-то притупить отчаяние, то меланхолию не берет ничто: наверное, она исчезнет лишь с последней каплей нашей крови.

Скука – это тоска в зачаточном состоянии, хандра же – это мечтательная ненависть.

Наши печали являются продолжением тайны, намеченной в улыбках мумий.

Только тревога, эта черная утопия, поставляет нам уточнения, касающиеся будущего.

Давать выход приступам тошноты? Молиться? Скука возносит нас к небу Распятия, от которого во рту отдает сахарином.

Я долго верил в метафизические свойства Усталости: она и в самом деле позволяет нам добираться до самых корней Времени; но с чем мы оттуда возвращаемся? С пошлыми выдумками про вечность.

«Я как сломанная марионетка, у которой глаза упали вовнутрь».

Эти слова одного душевнобольного перевешивают все написанные до сих пор труды по самоанализу.

Когда все вокруг нас теряет вкус, каким тонизирующим средством может стать интерес к тому, как мы потеряем разум!

Вот если бы можно было по своей воле менять небытие апатии на динамичность угрызений совести!

По сравнению со скукой, которая меня ожидает, та, которая живет во мне, кажется мне столь приятно невыносимой, что я не без трепета думаю о том моменте, когда истощится наполняющий ее ужас.

В мире, лишенном меланхолии, соловьи начали бы рычать.

Когда кто-то при вас по всякому поводу употребляет слово «жизнь», знайте, что этот человек больной.

Интерес, проявляемый нами ко всему, что связано со Временем, проистекает из снобизма Непоправимого.

Чтобы приобщиться к грусти, к искусству промышлять Неопределенным, некоторым нужна всего одна секунда, другим же – целая жизнь.

Как же много раз я удалялся в тот чуланчик, который называется Небеса, как же много раз я поддавался своей потребности задохнуться в Боге!

Я являюсь самим собой, только находясь выше или ниже себя, только в приступах бешенства или уныния; на обычном моем уровне я просто не знаю, что я существую.

Не такое это легкое дело – заработать невроз; тот, кому это удается, получает в свое

распоряжение целое состояние, процветание которому обеспечивают как успехи, так и поражения.

Мы можем действовать лишь применительно к тому или иному ограниченному сроку: дню, неделе, месяцу, году или жизни. Если же, на свое несчастье, мы начинаем соотносить наши действия со Временем, то и время, и действия просто исчезают; а это уже авантюра, генезис абсолютного отрицания.

Рано или поздно каждое желание должно встретить свое утомление, свою истину…

Отчетливое представление о времени: покушение на время…



***Низвержение Сатаны в бездну и Новый Иерусалим. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюре***

Благодаря меланхолии, этому альпинизму ленивцев, мы с нашей постели взбираемся на все вершины и парим в мечтах над всеми пропастями.

Скучать – это значит заниматься пережевыванием времени.

У кресла очень ответственная задача: оно творит нам «душу».

Я принимаю решение стоя, а потом ложусь и отменяю его.

С горестями можно было бы легко примириться, если бы от них не сдавали разум или печень.

Я искал пример для подражания в самом себе. А затем, дабы осуществлять подражание, доверился диалектике беспечности. Ведь насколько же это приятнее – не преуспеть в самосозидании!

Посвящать идее смерти все те часы, которые профессия перетянула бы на себя… Метафизические излишества могут себе позволить только монахи, развратники да клошары. Любая работа даже из самого Будды сделала бы простого брюзгу.

Заставьте людей днями лежать без дела – и диванам удалось бы то, в чем не преуспели ни войны, ни лозунги. Ибо операции Скуки по своей эффективности превосходят и военные операции, и всякие идеологии.

Наши отвращения? Обходные маневры отвращения к самим себе.

Когда я подмечаю в себе какое-нибудь поползновение к бунту, я выпиваю снотворное или советуюсь с психиатром. Все средства хороши для того, кто упорствует в Безразличии, не будучи к нему предрасположенным.

Предпосылка лентяев, этих прирожденных метафизиков, Пустота является убеждением, обретаемым всеми славными людьми и профессиональными философами в конце жизни как бы в виде награды за выпавшие на их долю разочарования.

По мере того как мы освобождаемся от стыда за те или иные свои поступки, мы сбрасываем с себя маски. В один прекрасный день наша игра прекращается: не остается ни причин стыдиться, ни масок. Равно как и публика. Оказалось, что мы переоценили свои тайны, переоценили жизнеспособность наших неприятностей.

Я постоянно веду уединенные беседы со своим скелетом, и вот уж этого-то моя плоть никогда мне не простит.

Что губит радость, так это отсутствие у нее неукоснительности; взгляните, как со своей стороны последовательно действует злоба…

Если ты хотя бы один раз был грустен без повода, ты грустил всю свою жизнь, не отдавая себе в этом отчета.

Я шляюсь в пространстве своих дней, как какая-нибудь проститутка в мире без тротуаров.

Заодно с жизнью люди бывают только тогда, когда изрекают – от чистоты сердца – банальности.

Между Скукой и Экстазом развертывается весь наш опыт восприятия времени.

Ваша жизнь состоялась? Вы никогда не испытаете чувства гордости.

Мы за своим лицом прячемся, а сумасшедший своим лицом себя выдает. Он выставляет себя напоказ, доносит на себя. Потеряв свою маску, он выдает свою тоску, навязывает ее первому встречному, щеголяет своими загадками. Подобная нескромность раздражает. Поэтому совершенно нормально, что на него надевают смирительную рубашку

и изолируют его.

Все воды окрашены в цвет потопления.

То ли от любви к угрызениям совести, то ли из-за своей черствости, но я не сделал ничего, чтобы спасти ту малую толику Абсолюта, которая есть в этом мире.

Становление – агония без развязки.

В отличие от удовольствий, страдания не ведут к пресыщению. Пресыщенных прокаженных не бывает.

Печаль – аппетит, который не в силах утолить никакое страдание.

Ничто не льстит нам так, как наваждение смерти: наваждение, но не сама смерть.

Часы, когда мне кажется бесполезным вставать по утрам, обостряют мой интерес к неизлечимым больным. Прикованные к своей постели и к Абсолюту, как же много они должны знать обо всем! Но меня сближает с ними лишь виртуозность оцепенения, лишь жвачка ленивого дремотного утра.

Пока скука ограничивается сердечными делами, не все еще потеряно; но стоит ей распространиться на сферу суждения – и с нами будет покончено.

Мы почти не размышляем, когда стоим, и еще меньше – когда идем. Именно из нашего упорного желания сохранять вертикальное положение родилось Действие; вот почему, дабы выразить свой протест против его преступлений, нам следовало бы подражать позе трупов.

Отчаяние – это нахальство несчастья, это своего рода провокация, философия для бестактных эпох.

Человек уже не боится завтрашнего дня, научившись черпать полными пригоршнями в Пустоте. Скука творит чудеса, превращая отсутствие в субстанцию; да и сама она ведь тоже является питательной пустотой.

Чем больше я старею, тем меньше мне нравится изображать из себя некоего маленького Гамлета. Теперь я уже даже не знаю, какими должны быть мои переживания перед лицом смерти…